

АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО

ЧУДЕСА В
РЕШЕТЕ
(СБОРНИК)

Аркадий Тимофеевич Аверченко

Чудеса в решетке (сборник)

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7075231

Чудеса в решетке / Аркадий Аверченко: Эксмо; Москва; 2014

ISBN 978-5-699-71989-1

Аннотация

Аркадий Аверченко (1881–1925) – замечательный русский писатель-юморист, подлинное мастерство которого сразу покорило его современников, не случайно присвоивших ему титулы «Короля смеха» и «Рыцаря улыбок». Писатель Аверченко расписывает анекдотическую ситуацию, утрируя и доводя ее до полнейшего абсурда, – и дарит читателю здоровый очистительный смех. Главная тема писателя до революции – пороки человеческой природы, а после революции – противопоставление образов старой и новой России. В книгу включены известные сборники рассказов «Чудеса в решетке», «Нечистая сила», знаменитая сатирическая книга – «Дюжина ножей в спину революции» и увлекательная «Экспедиция в Западную Европу сатириковцев: Южакина, Сандерса, Мифасова и Крысакова».

Содержание

Чудеса в решетке	6
Отдел I	6
Эхо церкви Феличе	6
История итальянского слуги Джустино	10
Пирамида Хеопса	19
Американец	28
Резная работа	35
Драма в семье Бырдиных	41
Отчаянный человек	50
Первый анекдот обо мне	59
Из воспоминаний о покойном Аверченко	63
Как женился Панасюк	64
Отдел II	77
Окружающие нас	77
Знатоки женского сердца	81
Роковой Воздуходув	88
Материнство	95
Профессионал	99
Исповедь, которая облегчает	111
Кустарная работа	119
Отдел III	126
Приезжий Сельдяев	126
Необыкновенный человек	134

Аркадий Аверченко

Чудеса в решете (сборник)

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

* * *

Чудеса в решетке

Отдел I Чудеса в решетке

Эхо церкви Феличе

Однажды летним вечером мы с приятелем сидели за столиком в саду и, попивая теплое красное вино, глазели на открытую сцену.

Дождь, упорно стучавший по крыше веранды, на которой мы сидели; необозримое снежное поле не занятых никем белых столиков; ряд самых замысловатых «номеров», демонстрировавшихся на открытой сцене; и, наконец, живительное теплое бордоское – все это настраивало нашу беседу на самый глубокомысленный, философический лад.

Прихлебывая вино, мы дружно цеплялись за каждое пустяковое обычное явление окружающей нас жизни и тут же, сблизив носы, принимались его рассматривать самым внимательным образом.

– Откуда берутся акробаты? – спросил мой приятель, поглядывая на человека, который только что уперся рукой в

голову своего партнера и немедленно же поднял вверх ногами все свое затянутое в лиловое трико тело. – Ведь просто так, зря, они же акробатами не делаются. Почему, например, ты не акробат или я не акробат?

– Мне акробатом быть нельзя, – резонно возразил я. – Мне рассказы нужно писать. А вот почему ты не акробат – я не знаю.

– Да я и не знаю, – простодушно подтвердил он. – Просто не приходило в голову. Ведь, когда в юности предназначаешь себя к чему-нибудь, то акробатическая карьера как-то не приходит в голову.

– А вот им же – пришла в голову?

– Да. Действительно это странно. Так иногда хочется пойти за кулисы к акробату и расспросить его – как это ему вздумалось сделать карьерой ежевечернее влезание на голову своему ближнему.

Дождь барабанил по крыше веранды, официанты дремали у стен, мы тихо беседовали, а в это время на сцене уже появился «человек-лягушка». Был он в зеленом костюме с желтым лягушечьим брюхом и даже с картонной лягушечьей головой. Прыгал, как лягушка, – и, вообще, ничем от обыкновенной лягушки, кроме размера, не отличался.

– Вот возьми – человек-лягушка. Сколько их, таких «человеков – чего-нибудь» бродит по свету: человек-страус, человек-змея, человек-рыба, человек-каучук. Спрашивается: как всякий такой человек мог добраться до решения – сде-

латься человеком-лягушкой? Осенила ли его эта мысль сразу, когда он мирно сидел на берегу тинистого пруда, наблюдая действия просто-лягушек... Или эта мысль постепенно, исподволь росла в нем и крепла.

– Я думаю – сразу. Осенило.

– А, может быть, у него с детства было стремление к лягушечьей жизни и только влияние родителей удерживало его от этого ложного шага. Ну, а потом... Эх, молодость, молодость! Потребуем еще одну, – хорошо?

– Молодость?

– Бутылку. А это кто, в клетчатом пальто с громадными пуговицами, в рыжем парике? Ах, эксцентрик! Заметь, у них уже есть свои освященные временем приемы, традиции и правила. Например – эксцентрик должен быть непременно в рыжем парике. Почему? Бог его знает! Но это хороший клоунский тон. Затем – появляясь на сцене, он никогда не делает ни одного целесообразного поступка. Все его жесты и шаги должны быть явно бессмысленны, обратно пропорциональны здравому смыслу. Чем бессмысленнее – тем больший успех. Погляди: ему нужно закурить папиросу... Он берет палочку, трет ее о лысину – палочка зажигается. Он закуривает папиросу, а горящую палочку прячет в карман. Теперь ему нужно погасить папиросу. Как он это делает? Берет сифон содовой воды и пускает струю на тлеющую папиросу. Кто в действительной жизни зажигает спички о голову и гасит папиросу с помощью сифона? Он хочет расстег-

нуть пальто... Как он это делает? Как другие люди? Нет! Он вынимает из кармана громадные ножницы и отстригает ими пуговицы. Смешно? Ты смеешься? А знаешь, почему люди смеются, глядя на это? Психология их такова: о, Боже, как глуп этот человек, как он неуклюж!.. А вот я не такой, я умнее. Я зажгу спичку о спичечную коробку и расстегну пальто обычным способом. Тут просто звучит замаскированная молитва фарисея; благодарю тебя, Господи, что я не похож на него.

– Бог знает, что ты такое говоришь...

– Да уж верно, брат, верно. Жаль, что над этим никто не задумывается... Ну, вот посмотри: его партнер хочет его брить... Взял ведро с мыльной водой, привязал его салфеткой за горло к стулу, а потом нахлобучил ему ведро с мылом на голову и бьет, торжествуя победу, по его животу кулаками и ногами. Смешно? Публика смеется... А что если бы привести сюда старушку-мать этого рыжего с ведром на голове; она, вероятно, и не знает, чем занимается её сын, её дитя, которого она укачивала на коленях, тихо целуя розовые пухлые губки, глядя шелковистые волосики, прижимая младенческий теплый животик к своей многолюбящей материнской груди... А теперь по этому животу какой-то зеленощекий парень молотит своими ножищами, а с пухлых губок, измазанных краской, стекает мыльная пена, а шелковистых волосиков нет – вместо них ужасные красные волосища... Каково это матери? Заплачет она и скажет: Павлик мой, Павлик...

На то ли я тебя растила, холила. Дитя мое! Да что же это ты с собою сотворил такое?!

– Во-первых, – категорически заявил я, – ничто не мешает этому рыжему, если он, действительно встретит свою мать, – заняться какой-нибудь другой, более полезной деятельностью, а во-вторых – ты, кажется, выпил вина больше, чем нужно.

Приятель пожал плечами.

– Во-первых, этот парень уже ничем другим заняться не может, а во-вторых, я выпил вина не больше, а меньше, чем нужно, – в подтверждение чего могу тебе связно и толково рассказать одну действительную историю, которая подтвердит мое «я»! Во-первых.

– Пожалуй, – согласился я, – подавай свою историю.

– Эта история, – сказал он торжественно, – подтверждает, что человек, который привык стоять на голове, не может уже стоять на ногах, и человек, который избрал себе профессию лягушки, не может быть ничем другим, кроме лягушки – ни директором банка, ни мануфактурным приказчиком, ни городским деятелем по выборам... Лягушка – останется лягушкой. Ну, вот:

История итальянского слуги Джустино

Как тебе известно, а может быть, как тебе не известно, я исколесил всю Италию вдоль и поперек. Признаться тебе –

я люблю ее, эту грязную, лживую надувательскую Италию. Как-то раз, шатаюсь по Флоренции, попал я во Фьезоле – это такое мирное идиллическое местечко, без трамваев, шума и грохота.

Я зашел во дворик маленького рестораника, присел к столику и, заказав какую-то курицу, закурил сигару.

Вечер теплый, ароматный, настроение у меня прекрасное... Хозяин терся-терся около меня, очевидно, собираясь что-то спросить и не решаясь – однако, наконец, решился и спросил:

– А что, прошу извинения – не нужен ли синьору слуга?

– Слуга? Какой слуга?

– Обыкновенный, итальянский. Синьор, видно, человек богатый, и ему, вероятно, нужно, чтобы кто-нибудь ему служил. У меня есть для синьора слуга.

– Да на кой дьявол мне слуга? – удивился я.

– Ну, как же. Разве можно жить без слуги? Всякий барин должен иметь слугу.

Признаться, мне это соображение никогда не приходило в голову.

«А ведь в самом деле, – подумал я. – Отчего бы мне и не иметь слуги? В Италии я еще проброжу долго, а человек, которому можно взвалить на шею разные мелкие хлопоты и дрязги – очень бы меня облегчил...»

– Ладно, – говорю. – Покажите вашего слугу.

Привели... Парень здоровый, коренастый, с ласковой

улыбкой и предобродушным выражением лица.

Потолковали мы пять минут, и в тот же вечер я увез его во Флоренцию. Со следующего дня и началась моя трагедия.

– Джустино! – сказал я утром. – Почему ты не почистил мне ботинок?

– О, синьор! Я не умею чистить ботинок, – заявил он с искренним огорчением.

– Какой же ты слуга, если не умеешь делать такого пустяка! Сегодня же возьми урок у чистильщика сапог. А сейчас свари мне кофе.

– Синьор! Осмелюсь заявить, что я не знаю, как варить кофе.

– Смеешься ты надо мной, что ли?

– О, нет, синьор... не смеюсь... – печально пробормотал он.

– Ну, а телеграмму сдать на почту ты сумеешь? Заpackовать чемодан, пришить к пальто пуговицу, побрить меня, приготовить ванну – сумеешь?

И снова прозвучало грустное:

– Нет, синьор, не сумею.

Я скрестил на груди руки.

– А что же ты умеешь, скажи на милость.

– Будьте ко мне, синьор, снисходительны... Я почти ничего не умею.

Во взоре его светилась тоска и искреннее страдание.

– Почти?! Ты говоришь «почти»... Значить, что-нибудь

ты умеешь делать?

– О, синьор! Да умею – но это, к сожалению, вам не нужно.

– Да что же это такое?

– О, не спрашивайте меня... Мне даже неловко сказать...

– Почему? А вдруг это мне понадобится...

– Нет, нет. Клянусь святым Антонием – вам это никогда не понадобится...

– Черт знает что! – подумал я, опасливо на него поглядев, – может быть, он до этого был разбойником и резал в горах проезжий народ. Тогда, действительно, он прав, – это мне никогда не понадобится...

Однако милое простодушное лицо Джустино самым наглядным образом опровергло это предположение.

Я махнул рукой – сам заварил кофе, сдал на почту корреспонденцию и вечером приготовил себе ванну.

На другой день я поехал во Фьезоле и зашел в тот самый ресторанчик, хозяин которого таким подлым образом подсунил мне «слугу».

Я уселся за стол – и снова появился кланяющийся, извиняющийся хозяин.

– Эй, вы, – поманил я его пальцем. – Что это за чертова слугу вы мне подсунули, а?

Он приложил руки к сердцу.

– О, синьор! Он прекрасный человек – добрый, честный и непьющий...

– Да что мне в его честности, когда он палец о палец ударить не может. Именно – не может... Не «не хочет», а «не может». Вы говорили – я господин, и мне нужно слугу; а подсунули мне господина, у которого я играю роль слуги, потому что нет такой вещи, которую бы он мог сделать.

– Простите, синьор... Он может кое-что сделать, и очень хорошо даже... Но это вам совсем не нужно.

– Что же это такое?

– Да уж я не знаю – говорить ли? Не хочется хорошего парня конфузить.

Я ударил кулаком по столу.

– Да что вы все, черт побери, – сговорились, что ли!! Он умалчивает о своей бывшей профессии, вы тоже скрываете... Может быть, он железнодорожный вор или морской пират!!

– Сохрани Боже! Он служил по церковному делу и ничем дурным не занимался.

Криком и угрозами мне удалось вытянуть у хозяина всю историю.

Удивительная история, глупейшая история.

Надо тебе сказать, что вся Италия от больших городов, как Рим, Венеция, Неаполь, – до самых маленьких, – живет исключительно туристами. Туристы – это та «обрабатывающая» промышленность, которой кормится вся Италия. Все направлено к уловлению туриста. Их серенады в Венеции, развалины в Риме, грязь и шум Неаполя – все это во славу

форестьера, во имя его кошелька.

Каждый город, каждый квартал в городе имеет свою достопримечательность, которая за две лиры, за лиру, за мецца-лиру – показывается всякому шалому любопытствующему путешественнику.

В Вероне показывают могилу Джульетты, в соборе св. Марка место, где на коленях стоял Фридрих Барбаросса или еще кто-то... История, живопись, скульптура, архитектура – все идет в ход.

Есть в Северной Италии городишка – такой маленький, такой скверный, что его даже и на картах стыдятся указывать. Даже не городишка, а нечто вроде деревни.

И вот деревушка эта стала чахнуть. От чего может чахнуть итальянская деревушка? От бестуристья.

Есть турист – сыты все; нет туриста – ложись и помирай.

И все население деревушки со скорбью и тоской видело, как каждый день мимо них проносились поезда, битком набитые туристским мясом; останавливались на минуту и, не выкинув ни одного англичанина или немца, – мчались дальше.

А на следующей станции половина туристов выползала с поезда и шла осматривать городок, который сумел обзавестись собственной достопримечательностью: церковью, в которой был кто-то убит или замурован, или к стене прикован; показывали и кинжал убийцы, и замурованное место, и цепи – что кому больше нравилось. А может, никого там ни-

когда и не убивали – итальянцы большие мастера соврать, в особенности с корыстной целью.

И вот однажды разнеслась по всей округе чудесная весть: что в той деревушке, о которой я говорил раньше, после перестройки церковного купола появилось эхо, которое повторяет звук не раз и не два раза, как это иногда случается, а восемь раз.

Конечно, праздный, бездельный турист валом повалил на эту диковину...

Действительно, слух оправдался; эхо честно аккуратно повторяло каждое слово восемь раз.

И вот «эхо деревни Феличе» совершенно забило «замурованного принца городка Санта-Клара».

Двенадцать лет это продолжалось: двенадцать лет лиры и мецца-лиры лились в карман граждан деревни Феличе... И вот – на тринадцатый год (несчастливый год!) разразился страшный скандал: компания богатейших американцев с целой гирляндой разодетых дам приехала посмотреть «эхо деревни Феличе». И когда эта пышная компания вошла в скромную церковку – эхо было, очевидно, так поражено блеском и роскошью компании, что в ответ на крик одной дамы «Гудбай!» повторило это слово пятнадцать раз...

Самый главный американец сначала изумился, потом возмутился, потом расхохотался, а затем вся компания, не слушая протестов церковной администрации, бросилась отыскивать эхо... Обнаружили его в замаскированном ширмой

уголке на хорах, и когда вытащили «эхо», оно оказалось широкоплечим добродушным парнем – короче говоря, моим слугой Джустино.

Две недели вся Италия, прочтя о случае с «эхо Феличе», держалась за животики; потом, конечно, об этом забыли, как забывается все на свете.

Деревушка Феличе впала в прежнее ничтожество, а Джустино – эхо Феличе – за свою неуместную щедрость лишился места, на которое поступил еще мальчишкой – и, как человек, кроме эха ничего не умевший, – очутился на мостовой.

Всякому человеку хочется есть... Поэтому Джустино стал искать себе место! Он приходил в какую-нибудь деревенскую церковь и предлагал:

– Возьмите меня на службу...

– А ты что можешь делать?

– Я могу быть эхо. Очень хорошая работа... От 8 до 15 раз.

– Эхо? Не требуется. Мы кормимся плитой, на которой раскаялся однажды Борджия; человек на ней пролежал ночь, а нашим предкам, нам и потомкам нашим – на всю жизнь хватит.

Усталый, брел он дальше.

– Эхо хорошее, церковное! Не нужно ли? Отчетливое исполнение, чистая работа.

– Нет, не надо.

– Да почему? Турист эхо любит. Взяли бы меня, а?

– Нет, неудобно... То полтора ста лет не было эха в церкви, а то вдруг – на тебе – сразу появилось.

– А вы купол перестройте.

– Будем мы из-за тебя купол перестраивать... Иди себе с Богом.

Он бы умер с голода, если бы я его не взял себе в слуги.

* * *

Я долго молчал, размышляя о судьбе несчастного Джустино; потом спросил:

– Что же с ним случилось?

– Промучился я с ним год. Все не хватало духу выгнать. И когда я, взбешенный его манерой варить кофе, в котором было на треть бензину, кричал: «сегодня же забирай свои вещи и проваливай, бездарный негодяй!» – он прятался в соседнюю комнату и оттуда я слышал очень искусное эхо моих слов: «бездарный негодяй... дарный негодяй... и-й негодяй... негодяй... даяй... яяя...»

Это все, что умел делать несчастный искалеченный своей ненормальной судьбой парень.

– Где же он теперь?

– Выгнал. Что с ним, не знаю. Впрочем, недавно мне в Пизе говорили, что в одной близлежащей деревушке есть церковь, в которой замечательное эхо – повторяемое восемь раз. Весьма возможно, что мой горемыка-слуга снова попал на

свои настоящие рельсы...

Пирамида Хеопса

Начало всей этой истории почему-то твердо врезалось мне в память. Может быть, именно потому я имею возможность, ухватившись за этот хвостик, размотать весь клубок до самого конца.

Приятно, очень приятно следить со стороны за человеком, который в простоте душевной уверен, что все звенья цепи его поступков скрыты от чужого взгляда, и потому он – вышеупомянутый человек – простодушно и бесстыдно распускается пышным махровым цветком.

Автор – большой любитель таких чудесных махровых цветков.

Итак, хватаю эту историю за самый хвост:

Четыре года тому назад мне пришлось прожить целую неделю в квартире Новаковича – того самого, который однажды зимой уверил всех, что может проплыть в воде шесть верст, а потом, когда я, поймав его летом в Севастополе, заставил проделать это, Новакович отказался под тем предлогом, что какой-то купальщик плюнул перед тем в воду.

Несмотря на такие странные черты своего характера, Новакович был, в сущности, хорошим человеком, веселым, жизнерадостным – и я не без удовольствия прожил у него эту неделю.

Как-то после обеда, уходя из дому, мы измыслили забавную мистификацию: напялили на мольберт пиджак и брюки Новаковича, набили это сооружение тряпками, увенчали маской, изображавшей страшную святочную харю, и, крадучись, ушли, оставив дверь полуоткрытой.

По уходе нашем было так:

Первой вошла в комнату сестра Новаковича; увидев страшное существо, стоявшее перед ней на растопыренных ногах, нахально откинувшись назад – она с пронзительным криком отпрянула, шарахнулась вместо двери в шкаф, набила себе на виске шишку и уже после этого кое-как выбралась из комнаты.

Второй сейчас же вбежала горничная с графином воды, который она несла куда-то. От ужаса она уронила графин на пол и подняла крик.

Третьим пришел швейцар, приглашенный перепуганными женщинами. Это был человек, которого природа наделила железными нервами. Подойдя к молчаливому, жутко неподвижному незнакомцу, он сказал: «Ах ты, сволочь паршивая», размахнулся и ударил по страшной харе. После этого полетевший на пол и буквально потерявший голову незнакомец был освежеван, выпотрошен и водворен по частям на старое место: скелет поставили в угол, мясо и кожу повесили в платяной шкаф, ноги задвинули под кровать, а голову просто выбросили...

Четвертым и пятым пришли мы с Новаковичем. В зависи-

мости от темперамента и общественного положения мы были названы: «веселыми баринами», «выдумщиками, вечно придумывающими что-нибудь этакое...» и, наконец, «идиотами».

Графин мы компенсировали веселым ужином, в котором участвовали несколько графинов – и тем вся история окончилась. Впрочем, что я такое говорю – окончилась... Она только началась.

* * *

Прошло три недели.

Сидя в уголке гостиной на одном шумном вечере, я услышал и увидел следующее. Новакович подошел к одной группе остривших и рассказывавших анекдоты мужчин – и сказал:

– Ну, что этот ваш анекдот о купце! Старина матушка. Его еще Ной Каину и Авелю в Месопотамии рассказывал. А вот я вам расскажу факт, случившийся со мной...

– Ну, ну?

– Однажды вечером, недели три тому назад, я устроил у себя в комнате чучело человека, из мольберта, ботинок, костюма и святочной маски... Устроил, значит, и ушел... Ну-с – заходит зачем-то моя сестра в эту комнату... Видит эту штуку ну... и вы сами понимаете! Бросается вместо дверей в шкаф – трах головой! Кровь ручьем! Падает в обмороке.

На шум вбегает горничная, а у нее в руках, можете представить, дорогой фарфоровый кувшин. Увидела лежащую хозяйку, увидела кровь, увидела такого неподвижного страшного дядю, бросила дорогой фарфоровый кувшин на пол, – да вон из комнаты. Выбежала на переднюю лестницу, а по лестнице как раз швейцар поднимается с телеграммой в руках. Бросается она на швейцара, сбивает его с ног, и катятся они вниз по лестнице!! Ну, кое-как с оханьями и проклятиями встают, поднимаются, объясняются, швейцар берет револьвер, идет в комнату, приотворил дверь, кричит: «Сдавайся!» – «Не сдамся!» – «Сдавайся!» – «Не сдамся!..»

– Виноват, – перебил Новаковича один из слушателей, очень изумленный. – Кто же это мог отвечать ему: «Не сдамся!»? Ведь человек-то ваш был сделан из мольберта и тряпок?..

– Ах, да... Вы спрашиваете, кто отвечал: «Не сдамся!»? Гм... да. Это, видите ли, очень просто: это сестра моя отвечала. Она как раз очнулась от обморока, слышит, что кто-то кричит из другой комнаты «Сдавайся!», да и подумала, что это товарищ разбойника. Ну, и ответила: «Не сдамся!» Она у меня храбрая сестренка; вся в меня.

– Да... Бывает. Что же дальше?

– Что? Швейцар из револьвера прямо в грудь нашему чуелу: бах! Тот на пол – бац! Бросились, а там одни тряпки. Сестра со мной потом два месяца не разговаривала.

– Почему два месяца? Вы же говорите, что это произошло

всего три недели тому назад.

– Ну, да! Что ж такое... Уже три недели не разговаривает, да я думаю, еще недель пять не будет разговаривать – вот вам и два месяца.

– Ах, так... Да... Бывает. Странная, странная история.

– Я же вам говорю! А вы им там какой-то анекдот о купце рассказываете!..

* * *

Прошел год...

Однажды большая компания собралась ехать на Иматру.

Были и мы с Новаковичем.

Когда ехали в вагоне, то расселись так, что я сидел через две скамейки от Новаковича.

Видеть я его не видел, но голос слышал.

Новакович говорил:

– Я нахожу вашу историю с привидением конокрада банальной. Вот со мной однажды случилась история так история!

– Именно?

– Взял я однажды как-то, в прошлом году, да и соорудил у себя в комнате чучело разбойника – из мольберта, пиджака, брюк и ботинок. Привязал к руке нож... большой такой острый... и сам ушел. Заходит зачем-то в комнату сестра – видит эту ужасную фигуру... Бросается вместо дверей в бе-

льевой шкаф – трах! Дверка вдребезги, сестра вдребезги... Бросается она к окну... Трах! Распахнула она его, да с подоконника – прыг! А окно-то в четвертом этаже... После этого вбегает горничная, а в руках у нее на подносе дорогой фарфоровый сервиз еще екатерининских времен... От деда остался. Ему теперь и цены нет. Сервиз, конечно, вдребезги, горничная тоже... вылетает на лестницу, падает на швейцара, который с околоточным и двумя городовыми поднимался по лестнице кому-то повестку вручать и вся эта компания, можете себе вообразить, летит, как этакий бульденеж – с лестницы вниз. Крик, визг, стоны. Потом поднялись, расспросили горничную, подошли все к таинственной комнате... Конечно, шашки наголо, револьвер наголо... Пристав кричит...

– Вы говорили «околоточный», – кротко поправил Новиковича один из слушателей.

– Ну, да, не пристав, а помощник пристава. Это все равно, что околоточный... Он после в Батуме был приставом... Ну-с, кричит, значит, пристав в дверь: «Сдавайся!» – «Не сдамся!» – «Сдавайся!» – «Не сдамся!»

– Кто же это отвечал приставу: «Не сдамся!»? Ведь в комнате было только чучело...

– Как только чучело? А сестра?

– Да сестра ведь, вы говорите, выскочила из окна четвертого этажа.

– Ну, да... Так вы же слушайте! Выскочить-то она выско-

чила, да зацепилась платьем за водосточную трубу. Висит у самого окна, вдруг слышит: «Сдавайся!» Думает, разбойник кричит, ну, конечно, девушка храбрая, с самолюбием: «Не сдамся!» Хе-хе... «Ах, – говорит пристав, – так ты так, мерзавец?! Не сдаваться? Пали в него, ребята!» Ребята, конечно: бах! бах! Чучело-то мое упало, но за чучелом стоял старинный столик красного дерева, как говорят, из загородного шале Марии Антуанетты... Столик, конечно, вдребезги. Зеркало старинное вдребезги!.. Входят потом... Ну, конечно, сами понимаете... Ужас, разгром... Спросите сестру, она вам расскажет; когда бросились к чучелу, так глазам не хотели верить – так было все хорошо прилажено. Сестра потом от нервной горячки померла, пристав в Батум перевели...

– Как же вы говорите, чтобы мы сестру спросили, а потом сообщаете, что она умерла?

– Ну, да. Что ж такое? Она и умерла. А зато другая сестра есть, которая при этом была и все видела...

– Где же она теперь?

– Она? В Восьмипалатинске. За члена Судебной Палаты замуж вышла.

С минуту помолчали. Да-с. История с географией!

* * *

...Недавно, войдя в гостиную Чмутовых, я увидел возбужденного Новаковича, окруженного целым цветником дам.

– ...Полицеймейстер во главе наряда полиции подходит к дверям, кричит: «Сдашься ты или нет?» – «Не сдамся!» – «Сдашься?» – «Не сдамся!» – «Пли, ребята!» Пятьдесят пуль! как одна – вдребезги! «Сдаешься?» – «Не сдамся!» – «Пли! Зови пожарную дружину!! Разбивай крышу! Мы его сверху возьмем! Выкуривай его дымом – взять его живым или мертвым!!» В это время возвращаюсь я... Что такое? Во дворе пожарная команда, дым, выстрелы, крики... «Винovat, г-н полицеймейстер, – говорю я, – что это за история такая?» – «Опасный, говорить, бандит засел в вашей комнате... Отказывается сдаться!» Я смеюсь: «А вот, говорю, мы его сейчас...» Иду в комнату и выношу чучело под мышкой... С полицеймейстером чуть удар не случился: «Это что за мистификации? – кричит. – Да я вас за это в тюрьме сгною, шкуру спущу!!» – «Что-о? – отвечаю я. – Попробуй, старая калоша!» – «Ш-штоссс?!» Выхватывает шашку – ко мне! Ну, я не стерпел; развернулся... Потом четыре года крепости пришлось...

– Почему же четыре! Ведь это было года три назад?..

– А? Ну, да. Что ж такое... Три года и было. Под манифест попал.

– Ну, да... разве что так.

– Именно, так-с!!

А когда мы с ним вышли из этого дома и, взявшись дружески под руку, зашагали по тихим, залитым луною улицам, он, интимно пожав мой локоть, сказал:

– Сегодня, когда ты вошел, я им одну историю рассказывал. Ты начала не слышал. Изумительнейшая, прелюбопытнейшая история... Однажды устроил я в своей комнате из мольберта и разных тряпок подобие человека, а сам ушел. Зашла зачем-то сестра, увидела...

Я не мог дальше сдерживаться.

– Послушай, – сказал я. – Как тебе не стыдно рассказывать мне ту самую историю, которую мы же с тобой и устроили... Неужели ты не помнишь? И драгоценных сервизов не было, полицеймейстера не было, пожарных не было... А просто горничная разбила графин для воды, потом позвала швейцара, и он сразу разобрал на кусочки все наше произведение...

– Постой, постой, – приостановился Новакович. – Ты о чем это говоришь? О той истории, которую мы с тобой подстроили? Ну, да-а!.. Так это совсем другое! То действительно так было, как ты говоришь, а это было в другое время. А ты, чудак, думал, что это то же самое? Ха-ха! Нет, это было даже на другой улице... То было на Широкой, а это на Московской... И сестра была тоже другая... младшая... А ты думал?.. Ха-ха! Вот чудак!

Когда я взглянул на его открытое, сиявшее искренностью и правдивостью лицо – я подумал: я ему не верю, вы ему не поверите... Никто ему не поверит. Но он – сам себе верит.

И строится, строится пирамида Хеопса до сих пор...

Американец

В этом месте река делала излучину, так что получалось нечто вроде полуострова. Выйдя из лесной чащи и увидев вдали блестящие на солнце куски реки, разорванной силуэтами древесных стволов, Стрекачев перебросил ружье на другое плечо и отер платком пот со лба.

Тут-то он и наткнулся на корявого мужичонку, который, сидя на пне сваленного дерева, весь ушел в чтение какого-то обрывка газеты.

Мужичонка, заслышав шаги, отложил в сторону газету, вздел на лоб громадные очки и, стащив с головы неопределенной формы и вида шляпчонку, поклонился Стрекачеву.

– Драсти.

– Здравствуй, братец. Заблудился я, кажется.

– А вы откуда будете?

– На даче я. В Овсянкине. Оттуда.

– Верстов восемь будет отселева...

Он пытливо взглянул на усталого охотника и спросил:

– Ничего вам не потребуется?

– А что?

– Да, может, что угодно вашей милости, так есть.

– Да ты кто такой?

– Арендатель, – солидно отвечал мужичонка, переступив с ноги на ногу.

– Эту землю арендуешь?

– Так точно.

– Что ж, хлеб тут сеешь, что ли?

– Где уж тут хлеб, ваша милость! И в заводе хлебов не было. Всякой дрянью поросло, – ни тебе дерева настоящие, ни тебе луга настоящие. Бурелом все, валежник, сухостой.

– Да что ж ты тут... грибы собираешь, ягоды?

– Нету тут настоящего гриба. И ягоды тоже, к слову сказать, чорт-ма.

– Вот чудак, – удивился Стрекачев. – Зачем же ты тогда эту землю арендуешь?

– А это, как сказать, ваше благородие, всяка земля человеку на потребу дана и ежели произрастание не происходит, то, как говорится, человек не мытьем, так катаньем должен хлеб свой соблюдать.

Эту невразумительную фразу мужичонка произнес очень внушительно и даже разгладил корявой рукой крайне скудную бороду, напоминавшую своим видом унылое «арендованное» место; ни тебе полосу, ни тебе гладкого места, – один бурелом да сухостой.

– Так с чего ж ты живешь?

– Дачниками кормлюсь.

– Работаешь на них, что ли?

Хитрый смеющийся взгляд мужичонки обшарил лицо охотника, и ухмыльнулся мужичонка лукаво, но добродушно.

– Зачем мне на них работать! Они на меня работают.

– Врешь ты все, дядя, – недовольно пробормотал охотник Стрекачев, вскидывая на плечо ружье и собираясь уходить.

– Нам врать нельзя, – возразил мужичонка. – Зачем врать! За это тоже не похвалят. Баб обожают?

– Что?

– Некоторые из нашего полу до удивления баб любят.

– Ну?

– Так вот я, можно сказать, по этой бабьей части.

– Кого?!!

– А это мы вам сейчас скажем – кого...

Мужичонка вынул из-за пазухи серебряные часы, открыл их и, приблизив к глазам, погрузился в задумчивость... Долго что-то соображал.

– Шестаковская барыня, должно, больны нынче, потому уже пять ден, как не показываются, значить, что же сейчас выходит? Так что, я думаю, время сейчас Маслобоевым-дачницам и Огрызкиным; у Маслобоевых-то вам кроме губернанки профиту никакого, потому сама худа, как палка, а дочки опять же такая мелкота, что и внимания не стоящая. А вот Огрызкиной госпожой довольны останетесь. Дама в самой красоте и костюмчик я им через горничную Агашу под-

сунул такой, что отдай все да и мало. Раньше-то у нея что-то такое надевывалось, что и не разберешь: не то армячок со сборочкой, не то как в пальте оно выходило. А ежели без обтяжки – мои господа очень даже как обижаются. Не антиресно, вишь. А мне что?... Да моя бы воля, так я безо всего, как говорится. Убудет их, что ли? Верно я говорю?

– Чёрт тебя разберет, что ты говоришь, – рассердился охотник.

– Действительно, – согласился мужичонка. – Вам не понятно, как вы с дальних дач, а наши Окромчеделовские меня ни в жисть не забывают. «Еремей, нет ли чего новенького? Еремей, не освежился ли лепретуарчик? Да я на эту, может, хочу глянуть, а на ту не хочу, да куда делась та, да что делает эта?» Одним словом, первый у них я человек.

– У кого?

– А у дачников.

– Вот у тех, что за рекой?

– Зачем у тех? Те ежели бы узнали – такую бы мятку мне задали, что до зеленых веников не забудешь. А я опять же говорю об Окромчеделовских. Тут за этим бугром их штук сто, дач-то. Вот и кормлюсь от них.

– Да чем же ты кормишься, шут гороховый?!

Мужичонка почесал затылок.

– Экой ты непонятный! Как да что... Посадишь барина в яму – ну, значит и живи в свое удовольствие. Смотри, конечно, за что и платят. За Огрызкинскую барыню я, брат,

меньше целкового никак не возьму; Шестеренкины девицы тоже – на всякий скус потрафют, – рупь с четвертаком грех взять за этакую видимость али нет? Дрягина госпожа, Семененко, Косогорова, Лякина... Мало ли.

– Ты что же, значит, – сообразил Стрекачев, – купальщиц на своей земле показываешь?

– Во-во. Их, значит, тот берег, а мой, значит, этот. Им убытку никакого, а мне хлеб.

– Вот, каналья, – рассмеялся Стрекачев. – Как же ты дошел до этого?

– Да ведь это, господин, кому какие мозги от Бога дадены... Иду я о прошлом годе к реке рыбку поудить – гляжу, что за оказия! Под одним кустом дачник белеется, под другим кустом дачник белеется. И у всякого бинокль из глаз торчит. Сдурели они, думаю, что ли. Тогда-то я еще о биноклях и не слыхивал. Ну, подхожу, значит, к реке поближе... Эге-ге, вижу. Тут тебе и блонетки, и брондинки, и толстые, и тонкие, и старые, и малые. Вот оно что! Ну, как, значит, я во всю фигуру на берегу объявился – они и подняли визг: «Убирайся, такой-сякой, вон, как смеешь!...» И-и расстрекотались! С той поры я, значить, умом и вошел в соображение.

– Значит, ты специально для этого и землю заарендовал?

– Специально. Шестьдесят рублей в лето отвалил. Ловко? Да биноклей четыре штуки выправил, да кустов насажал, да ям нарыл – прямо удобство во какое. Сидишь эт-то в прохладе, в яме на скамеечке, слева пива бутылка (от себя держу:

не желаете ли? Четвертак всего разговору), слева, значить, пива бутылка, справа папиросы... – живи не хочу!

Охотник Стрекачев постучал ружьем о свесившуюся ветку дерева и как-будто вскользь спросил:

– А хорошо видно?

– Да уж ежели с биноклем, прямо вот – рукой достанешь! И кто только это бинокли выдумал, – памятник бы ему!.. Может, полюбопытствуете?

– Ну, ты скажешь тоже, – ухмыльнулся конфузливо охотник. – А вдруг увидят оттуда?

– Никак это невозможно! Потому так уж у меня пристроено. Будто куст; а за кустом яма, а в яме скамеечка. Чего ж, господин... попробуйте. Всего разговору (он приложил руку щитком и воззрился острым взглядом на противоположный берег, где желтела купальня)... всего и разговору на рупь шестьдесят!

– Это еще что за расчет?!

– Расчеты простые, ваше благородие: Огрызкинская госпожа теперь купается – дама замечательная, сами извольте взглянуть – рупь, потом Дрягина с дочкой на пятиалтынный разговор, ну и за губернанку Лавровскую дешевле двух двугривенных положить никак не возможно. Хучь оне и губернанки, а благородным ни в чем не уступят. Костюмишко такой, что все равно его бы и не было...

– А ну-ка... ты... тово...

– Вот сюда, ваше благородие, пожалуйста, здесь две ступе-

нечки вниз... Головку тут наклоните, чтоб оттелева не при-
метили. Вот-с так. А теперь можете располагаться... Пивка
не прикажете ли холодненького? Сей минутой бинокль про-
тру, запотел что-то... Извольте взглянуть.

Смеркалось...

Усталый, проголодавшийся, выполз Стрекачев из своего
убежища и, отыскав ружье, спросил корявого мужичонку,
сладко дремавшего на поваленном дереве:

– Сколько с меня?

– Шесть рублей двадцать, ваше благородие, да за пиво
полтинничек.

– Шесть рублей двадцать?! Это за что же такое столько?
Наверно, жульничаешь.

– Помилуйте-с... Огрызкинскую госпожу положим рупь,
да губернанка в полтиннике у нас завсегда идет, да Дряги-
ны – я уж мелюзги и не считаю, – да Синяковы трое с бабуш-
кой, да...

– Ну, ладно, ладно... Пошел высчитывать всякую чепу-
ху!.. Получай!

– Счастливо оставаться! Благодарим покорниче!..

И подмигнув очень интимно, корявый мужичонка шеп-
нул:

– А в третьем и пятом номере у меня с обеда наши Окро-
мчеделовские сидят. Уж и темно совсем, а их никак не выку-
ришь. Веселые люди, дай им Бог здоровья. Счастливо оста-
ваться!

Резная работа

Недавно один петроградский профессор – забыл после операции в прямой кишке больного В. трубку (дренаж) в пол-аршина длиной. В операционной кипит работа.

– Зашивайте, – командует профессор. – А где ланцет? Только сейчас тут был.

– Не знаю. Нет ли под столом?

– Нет. Послушайте, не остался ли он там?..

– Где?

– Да там же. Где всегда.

– Ну где же?!!

– Да в полости желудка.

– Здравствуйте! Больного уже зашили, так он тогда только вспомнил. О чем вы раньше думали?!

– Придется расшить.

– Только нам и дела, что зашивать да расшивать. Впереди еще шесть операций. Несите его.

– А ланцет-то?

– Бог с ним, новый купим. Он недорогой.

– Я не к тому. Я к тому, что в желудке остался.

– Рассосется. Следующего! Первый раз оперируетесь, больная?

– Нет, господин профессор, я раньше у Дубинина оперировалась.

– Ага!.. Ложитесь. Накладывайте ей маску. Считайте! Ну? Держите тут, растягивайте. Что за странность! Прощупайте-ка, коллега... Странное затвердение. А ну-ка... Ну вот! Так я и думал... Пенсне! Оригинал этот Дубинин. Отошлите ему, скажите – нашлось.

– А жаль, что не ланцет. Мы бы им вместо пропавшего воспользовались... Зашивайте!

– А где марля? Я катушки что-то не вижу. Куда она закатилась?

– Куда, куда! Старая история. И что это у вас за мания – оставлять у больных внутри всякую дрянь.

– Хорошая дрянь! Марля, батенька, денег стоит.

– Расшивать?

– Ну, из-за катушки... стоит ли?

– А к тому, что марля... в животе...

– Рассосется. Я один раз губку в желудок зашил, и то ничего.

– Рассосалась?

– Нет, но оперированный горчайшим пьяницей сделался.

– Да что вы!

– Натурально! Выпивал он потом, представьте, целую бутылку водки – и ничего. Все губка впитывала. Но как только живот поясом потуже стянет – так сразу как сапожник пьян.

– Чудеса!

– Чудесного ничего. Научный факт. В гостях, где выпивка была бесплатная, он выпивал невероятное количество водки

и вина и уходил домой совершенно трезвый. Потом, дома уже, потрет руки, скажет: «Ну-ка, рюмочку выпить, что ли!» И даванет себя кулаком в живот. Рюмку из губки выдавит, закусит огурцом, походит – опять: «Ну-ка, говорит, давнем еще рюмочку!..» Через час – лыка не вяжет. Так пил по мере надобности... Совсем как верблюд в пустыне.

– Любопытная исто... Что вы делаете? Что вы только делаете, поглядите!!!.. Ведь ему гланды нужно вырезать, а вы живот разрезали!!

– Гм... да... Заговорился. Ну все равно, раз разрезал – поглядим: нет ли там чего?..

– Нет?

– Ничего нет. Странно.

– Рассосалось.

– Зашивайте. Ффу! Устал. Закурить, что ли... Где мой портсигар?

– Да тут он был; недавно только держали. Куда он закатился?

– Неужто портсигар зашили?

– Оказия. Что же теперь делать?

– Что, что! Курить смерть как хочется. И потом, вещь серебряная. Расшивайте скорей, пока не рассосался!

– Есть?

– Нет. Пусто, как в кармане банкрота.

– Значит, у кого-нибудь другого зашили. Все оперированные здесь?

– Неужели всех и распарывать?

– Много ли их там – шесть человек! Порите.

– Всех перепороли?

– Всех.

– Странно. А вот тот молодой человек, что в двери выглядывает? Этого, кажется, пропустили. Эй, вы – как вас? – ложитесь!

– Да я...

– Нечего там – не «да я»... Ложитесь. Маску ему. Считайте.

– Да я...

– Нажимайте маску крепче. Так. Где нож? Спасибо.

– Ну? Есть?

– Нет. Ума не приложу, куда портсигар закатился. Ну, очнулись, молодой человек?

– Да я...

– Что «вы», что «вы»?! Говорите скорей, некогда...

– Да я не за операцией пришел, а от вашей супруги... Со счетом из башмачного магазина.

– Что же вы лезете сюда? Только время отнимаете! Где же счет? Ложитесь, мы его сейчас извлечем.

– Что вы! Он у меня в кармане...

– Разрезывайте карман! Накладывайте на брюки маску...

– Господин профессор, опомнитесь!.. У меня счет и так вынимается из кармана. Вот, извольте.

– Ага! Извлекли? Зашивайте ему карман.

– Да я...

– Следующий! – бодро кричит профессор. – Очистите стол. Это что тут такое валяется?

– Где?

– Да вот тут, на столе.

– Гм! Чей-то сальник. Откуда он?

– Не знаю.

– Сергей Викторович, не ваш?

– Да почему же мой?! – огрызается ассистент. – Не меня же вы оперировали. Наверное, того больного, у которого камни извлекали.

– Ах ты ж, Господи, – вот наказание! Верните его, скажите, пусть захватит.

– Молодой человек! Сальничек обронили...

– Это разве мой?

– Больше ничей, как ваш.

– Так что же я с ним буду делать? Не в руках же его носить... Вы вставьте его обратно!

– Эх, вот возня с этим народом! Ну, ложитесь. Вы уже поролись?

– Нет, я только зашивался.

– Я у вас не забыл своего портсигара?

– Ей-богу, в глаза не видал... Зачем мне...

– Ну, что-то у вас глаза подозрительно бегают. Ложитесь! Маску! Считайте! Нажимайте! Растягивайте!

– Есть?

- Что-то такое нащупывается... Какое-то инородное тело.
Дайте нож!
- Ну?
- Пойдите... Что это? Нет, это не портсигар.
- Бумажка какая-то... Странно... Э, черт! Видите?
- Ломбардная квитанция!
- Ну конечно: «Подержанный серебряный портсигар с золотыми инициалами М.К.» Мой! Вот он куда закатился! Вот тебе и закатился...
- Хе-хе, вот тебе и рассосался.
- Оборотистый молодой человек!
- Одессит, не иначе.
- Вставьте ему его паршивый сальник и гоните вон. Больных больше нет?
- Нет.
- Сюртук мне! Ж-живо! Подайте сюртук.
- Ваш подать?
- А то чей же?
- Тут нет никакого сюртука.
- Чепуха! Тут же был.
- Нет!.. Неужели?..
- Черт возьми, какой неудачный день! Опять сызнова всех больных пороть придется. Скорее, пока не рассосался! Где фельдшерица?
- Нет ее...
- Только что была тут!

- Не зашили ли давеча ее в одессита?!
- Неужели рассосалась?..
- Ну и денёк!..

Драма в семье Бырдиных

В богатых апартаментах графа Бырдина раздался болезненный стон.

С расширенными от ужаса глазами, схватившись за голову, застыл граф, и его взгляд – взгляд помешанного – блуждал по странице развернутого иллюстрированного журнала.

– Да, это так, – глухо произнес он. – Сомнений быть не может!

Испустив проклятие, граф схватил журнал и помчался с ним в будуар графини.

* * *

Графиня Бырдина – красавица роскошного телосложения – лежала на изящной козетке и читала роман в желтой обертке, из французского быта.

Её высокая пышная грудь, как волна в прилив, вздымалась легким дыханием, белые полные руки соперничали нежностью с легкой воздушной материей пеньюара, а волнистая линия бедер свела бы с ума самого записного анахорета.

Вот какова была графиня Бырдина!

Как вихрь ворвался несчастный граф в будуар жены.

– Полюбуйтесь! – со стоном произнес граф (они не забылись, даже когда были с глазу на глаз, и называли друг друга всегда на «вы»). – Полюбуйтесь. Читали?!

– Что такое? – привстала встревоженная графиня. – Какое-нибудь несчастье?

– Да уж... счастьем назвать это трудно! – горько произнес граф.

Графиня судорожно схватила журнал и на великолепном французском языке прочла указанное мужем место:

– «В предстоящем зимнем сезоне модными сделаются опять худые женщины. Полные фигуры, так на шумевшие в прошлом сезоне, по всем признакам, несомненно, должны выйти из моды».

Тихо сидела графиня, склонив голову под этим неожиданным грубым ударом.

Ее потупленный взор остановился на туфельках полной прекрасной ножки ее, нескромно обнаженной пеньюаром больше, чем нужно...

С туфелек взор перешел на колени, на прекрасный достойный резца Праксителя стан, и замер этот взор на высокой волнующейся груди.

И болезненный стон вырвался у графини. Как подкошен-

ная, склонилась она к ногам графа, обнимая его колени. Момент был такой ужасный, что оба, сами того не замечая, перешли на «ты».

– Простишь ли ты меня, любимый?! Пойми же, что я не виновата!! О, не покидай меня!

Мрачно сдвинув брови, глядел граф неотступно куда-то в угол.

– О, не гляди так! – простионала графиня... – Ну, хочешь, уйдем от света! Я последую за тобой, куда угодно.

– Ха-ха-ха! – болезненно рассмеялся граф. – «Куда угодно»... Но ведь и мода эта проникнет куда угодно. Нигде не найдем мы места, где на нас бы смотрели без насмешки и язвительности. Всеми презираемые, будем мы влачить бремя нашей жизни. О, Боже! Как тяжело!!

– Послушай... – робко прошептала графиня. – А, может быть, все обойдется...

– Обойдется? – сардонически усмехнулся граф. – Скажи: считался ли до сих пор наш дом самым светским, самым модным в столице?

– О, да! – вырвалось у графини.

– Чем же теперь будут считать наш дом, если я покажу им хозяйку, в самом начале сезона уже вышедшую из моды, как шляпка на голове свояченицы устьсысольского околоточного?! Что вы на это скажете, графиня?

– О, не презирай меня, – зарыдала графиня. – Я постараюсь, я... я сделаю все, чтобы похудеть...

Граф молча встал, холодно поцеловал жену в лоб и вышел из будуара.

* * *

Заведующая «институтом красоты» встретила графа Бырдина очень радостно, но сейчас же осеклась, увидев его мрачное расстроенное лицо.

– Граф! – вскричала она. – Ваша супруга...

– Увы! – глухо произнес граф.

Он вынул журнал, показал его притихшей хозяйке и потом, сложив умоляюще руки, простонал:

– Вы! На вас вся надежда! Помогите...

После долгого раздумья и перелистывания десятка специальных книг заведующая «институтом» вздохнула и решительно произнесла:

– Выход один: вашей жене нужно похудеть.

– Но как? Как?

– Одного режима и диеты мало. Вам нужно еще почаще ее огорчать...

– Хорошо, – произнес граф, и мучительная, страдальческая складка залегла на челе его. – Будет исполнено. Я люблю ее, но... будет исполнено!

В тот же день граф, зайдя к жене, уселся на краю козетки и безо всяких предисловий начал:

– Подвинься, чего тут разлеглась!

– Граф! – кротко сказала жена. – Опомнитесь!..

– Я уже сорок лет как граф, – сурово прорычал граф. – Но до сих пор не понимаю: как это люди могут целыми днями валяться на козетках, ровно ни черта не делая, кроме чтения глупейших романов.

Графиня тихо заплакала.

– Да право! Работать нужно, матушка, хлеб зарабатывать, а не висеть на шее у мужа.

– Граф! Что вы говорите! Ведь у нас около трехсот тысяч годового дохода... зачем же мне работать?

– Зачем? А затем, что ты дура, вот и все.

– Граф!?!?!..

– Вот ты мне еще похнычешь!.. Дам по башке, так перестанешь хныкать.

Граф встал, холодно сложил на груди руки и сказал:

– Да, кстати! Я завел вчера любовницу, так ты тово... не очень-то много о себе воображай. Красивая канашка. Хо-хо-хо!

– Граф!!

– Заладила сорока Якова: граф да граф! Думаю начать

пить, а вечером поеду в клуб. Начну от нечего делать нечисто играть. Выиграю деньги и обеспечу своих незаконных ребят. Восемь-то ртов – все есть хотят! Не хнычь, тебе говорят! Давно я тебя за косы не таскал, подлюку?!

Пробормотав гнусное проклятие, граф выбежал из будуара. И тут на лице его написалось страшное страдание.

– О, моя бедная! О, моя любимая, – шептали его побледневшие уста. – Для нашего общего блага делаю я это.

Он прошел к себе в кабинет, позвал всю мужскую и женскую прислугу и дал всем точные инструкции, как им относиться к графине и как с ней разговаривать.

* * *

Точно тень, бродила бледная похудевшая графиня по своим обширным апартаментам. Робко поглядывала она на двери кабинета мужа, но войти боялась...

Встретила слугу Григория, стиравшего пыль с золоченых кресел.

– Григорий, барин у себя?

– А черт его знает, – отвечал Григорий, сплевывая на ковер. – Что я сторож ему, что ли?

– Григорий! Вы пьяны?

– Не на твои деньги напился! Тоже фря выискалась. Видали мы таких! Почище даже видали.

– Ульян! Степан! Дорофей! возьмите Григория – он пьян.

– Сдурели вы, что ли, матушка, – наставительно сказал старый, с седыми бакенами дворецкий Ульянов, входя в гостиную. – Кричит тут, сама не знает чего. Нечего тут болтаться, вишь, человек работает! Ступай себе в будувар, пока не попало.

Вне себя от гнева, сверкая глазами, влетела графиня в кабинет графа, писавшего какие-то письма.

– Это еще что такое?! – взревел граф, бросая в жену тяжелым пресс-папье. – Вон отсюда!! Всякие тут еще будут ходить. Пошла, пошла, ведьма киевская!

И когда жена, рыдая, убежала, граф с мучительным вздохом снова обратился к письмам...

Он писал:

«Уважаемая баронесса! К сожалению, должен сказать вам, что двери нашего дома для вас закрыты. После всего происшедшего (не буду о сем распространяться) ваше появление на наших вечерах было бы оскорблением нашего дома. Граф Бырдин».

«Княгиня! Надеюсь, вы сами поймете, что вам бывать у нас неудобно. Почему? Не буду объяснять, чтобы еще больше не обидеть вас. Так-то-с! Граф Бырдин».

– Хорошие они обе, – печально прошептал граф. – Обе хорошие – и баронесса, и княгиня. – Но что же делать, если в них пудов по пяти слишком.

А графиня таяла, как свеча. Даже сам граф Бырдин стал поглядывать на нее одобрительно и однажды даже похлопал

по костлявому плечу. – Скелетик мой, – нежно прошептал он.

* * *

Жуткий нечеловеческий стон раздался в роскошных апартаментах графа.

Остановившимися от ужаса глазами глядел граф на страшные, роковые строки свежего номера иллюстрированного журнала...

Строки гласили:

«Как быстро меняется в наше время всемогущая царица-мода! Только три месяца тому назад мы сообщали, что устанавливается прочная мода на худых женщин – и что же! Только три месяца продержалась эта мода и канула в вечность, уступив дорогу победоносному шествию женщин рубенсовского типа, с широкими мощными бедрами, круглыми плечами и полными круглыми руками. Ave, modes et gobes для полных женщин!!»

– Все погибло! – простонал граф. – Я отказал от дому рубенсовской баронессе и тициановской княгине, а они были бы украшением моего дома. Я извел жену, свел на нет её прекрасное пышное тело... Увы мне! Поправить все? Но как? До сезона осталось 2 недели... Что скажут?!

Мужественной рукой вынул он из роскошного футляра остро-отточенную бритву...

* * *

Чье это хрипение там слышится? Чья алая кровь каплет на дорогой персидский ковер? Чьи ослабевшие руки судорожно хватаются за ножку кресла?

Графское это хрипение, графская кровь, графские руки... И недаром поэт писал: «Погиб поэт, невольник чести»... Спи спокойно!

* * *

На похоронах платье графини Бырдиной было отделано черным валаньсеном, а сама она была отделана на обе корки светскими знакомыми за то, что погубила мужа, и за то, что не модная.

* * *

Кладбище мирно дремлет... Тихо качают ивы над могилой своими печальными верхушками: – дурак ты, мол, дурак!..

Отчаянный человек

I

...Поезд тронулся.

Мы поместились трое в ряд на мягком вагонном диване: я у окна, мой приятель Незапяткин посредине, а по правую его руку – какой-то неизвестный нам человек, с быстрыми черными глазами, потонувшими в темно-синих впадинах.

Одет он был в черный сюртук, а на шее было намотано такой невероятной длины кашне, что шея, голова и плечи напоминали гигантскую катушку ниток.

Едва поезд тронулся, как я вынул из кармана журнал и, примостившись поближе к окну, погрузился в чтение.

– Как мы мало заботимся о своем здоровье, – заметил вдруг незнакомец, обернувшись ко мне с самым приветливым видом.

– А что?

– Да вот, например, вы читаете... Знаете ли вы, что чтение в вагоне поезда, находящегося в движении, – гибель для глаз.

– Ну, уж и гибель!

– Вот, вот! Все вы, господа, так рассуждаете... Мне говорил один немецкий ученый профессор, что чтение в вагоне – это яд для человеческого глаза. Лучше, говорил он,

сразу взять и выжечь свои глаза кислотой, чем губить их в несколько приемов. Ужас!

– Да в чем же тут вред?

– А как же. Как вам известно, хрусталик глаза состоит из светлой бесцветной жидкости, находящейся в особом резервуаре. И вот если вы напрягаете хрусталик, то находящаяся в нем жидкость в связи с колебательными движениями вагона начинает постепенно высыхать... А в связи с этим высыханием начинает съеживаться и коробиться резервуар; яблоко глаза делается не круглым, упругим и плотным, как теперь, а вялым и мягким, будто бурдюк, из которого вылили вино. И вот однажды утром вы просыпаетесь и – простите за дешевый каламбур – вдруг видите, что ничего не видите. Вот вы сейчас, например, ощущаете некоторую сухость в глазу?

– Да... Как будто... Немножко.

– Ну, вот!.. Начинается... Извольте видеть.

Он замолчал. Я быстро перелистал журнал, сразу увидел, что чтение там было неинтересное, и поэтому, свернув его в трубку, положил на верхнюю полочку.

– Разрешите мне посмотреть ваш журнал, – попросил незнакомец.

– Пожалуйста! Только почему вы-то будете портить себе глаза?

– Ах, я в этом отношении совершеннейший безумец. Так расстраивать себе здоровье, как я, может только самоубийца. Однажды мне дали кокаин, и что же! Я стал его глотать чуть

не чайными ложками. В Самаре я купался прошлым летом в проруби, а в Петрограде мне случилось пользоваться папиросами, вынутыми из кармана умершего чумного.

Незапяткин всплеснул руками.

– Господи, какой ужас! Кровь холодеет.

– Еще бы. Конечно, есть опасности явные и есть тайные. Вот, например, вы сидите у окна. Знаете ли вы, что сквозь невидимые простым глазом щели в раме все время тянет тоненький, как комариное жало, сквозняк, который, как стальная иголочка, впивается в легкие. Легочные пузырьки, охлаждаясь, лопаются, появляются сгустки, кровохарканье и...

– Что ж делать, – с бледной неискусно сделанной улыбкой возразил я. – Кому-нибудь, все равно, приходится сидеть у окна.

– Да давайте я сяду, – простым тоном, каким вообще говорят героические вещи, – сказал незнакомец.

– Однако, ваши легкие...

– Э! Мне ли жалеть их... Однажды в Константинополе я два дня пробродил во время жестоких морозов в одном пиджачке. В Астрахани познакомился с одним заклинателем змей... Ну да чего там говорить! Идите на мое место.

Мы пересели.

– Ну, знаете, – покачивая головой в такт движению вагона и обращаясь к незнакомцу, заметил Незапяткин. – Он мой приятель, я знаю его с детства, люблю его, но и я бы не стал так рисковать своей шкурой за другого.

– Э! Стоит ли говорить об этом, – махнул рукой незнакомец.

Подсел поближе к окну, развернул мой журнал и погрузился в чтение.

II

Езда в вагоне без чтения – очень скучная штука. Незнакомец читал, а мы с Незапяткиным клевали носом, изредка перебрасываясь ленивыми отрывочными фразами.

– Когда будем в Тифлисе?

– Э! Еще не скоро.

– Время-то как тянется.

– Да уж.

– Душно в вагоне.

– Да.

– Всюду зима, а тут весна.

– Это верно.

– Смотри, какие деревья.

– Да. Большие.

Дочитав журнал, незнакомец вернул его мне, зевнул и сладко потянулся.

– Эх, поспать бы теперь!..

Он посмотрел на Незапяткина и сказал:

– Это самая подлая дорога в России.

– Почему?

– Почти каждый день столкновения поездов.

– Что вы говорите! Почему же в газетах не пишут?

– Скрывают. Вы сами понимаете... Гм! Да. Сколько жертв!

– Жуткая вещь! – заметил Незапяткин, с тревогой поглядывая на меня.

– А еще бы!

– Самое скверное то, – сказал незнакомец, – что вагоны понастроены такими закоулочками. Вот так, как мы сидим, – случись столкновение – пиши пропало!

– Почему?

– А как же! Смотрите: наши коленки почти упираются в стенку вагона. Представьте себе, на нас налетел поезд! Сейчас же стена соседнего вагона хлопает по нашей стене, а наша стена по нашим собственным коленям. Давление в несколько сот атмосфер.

– А что же... случится? – тихо спросил Незапяткин, поглядывая на стенку вагона широко открытыми глазами.

– Как что? Ноги ваши от удара моментально вонзаются в ваш живот, выдавливают оттуда печень, кишки, и вы складываетесь, как подзорная труба. Да-с, знаете... Неприятно почувствовать собственную берцовую кость в том месте, где определено природой быть только легким и сердцу.

Мы, подавленные, молчали.

– Таз, конечно, вдребезги. В куски. И самое ужасное, что с этого рода увечьями живут еще по три, четыре дня.

– Ну, а предположим, – спросил Незапяткин, – если пассажир в момент столкновения стоял в коридоре? Опасность для него такая же?

– Ничего подобного. Вы сами понимаете, что опасны не боковые стенки, а передняя и задняя. Я знал в Новоузенске одного человека, который, единственный из сотни, остался жив только потому, что бродил во время крушения по коридору вагона. Семенов его фамилия. Электротехник.

Мы с Незапяткиным молча поглядели друг другу в глаза и, без слов, поняли один другого.

Посидели для приличия еще минуты три, а потом я сказал:

– Совсем нога затекла. Пройтись, что ли.

– И я, – вскочил Незапяткин. – Пойдем покурим.

III

Когда мы вышли в коридор, Незапяткин сказал, подмигнув:

– А ловко я это насчет курения ввернул. Так-то просто – было неудобно выйти. Он мог бы подумать: трусы, мол. Испугались. Верно?

– Конечно.

– А у него, однако, дьявольские нервы. Действительно, сознавать, что каждую минуту тебя может исковеркать, зажать, как торговую книгу в копировальном прессе, – и в то же вре-

мя хладнокровно рассуждать об этом.

– Посмотри-ка, что он делает?

Незапяткин пошел взглянуть на нашего сумасброда и, вернувшись, доложил:

– Лежит чивой-то на диване с закрытыми глазами.

– Давай станем тут. Ближе к середине.

– А симпатичный он. Верно?

– Да. Милый. Такой... предупредительный.

Чем дальше, тем душнее было в вагоне. Чувствовалось приближение юга.

– Что, если мы откроем окно? – прервал я. – В степи такая теплынь.

– Не открываются окна. Вагон еще на зимнем положении.

– Постой... А вот это окно! У него, кажется, эта задвижка еле держится. Ну-ка, потяни.

– Ножичком бы. Не увидит никто?

– Ничего. Потом скажем, что нечаянно.

Рама с легким стуком упала – и нам в лицо пахнула сладкая прохлада напоенной ранними весенними ароматами степи.

– Какой воздух! Чувствуешь? Вот что значит Кавказ!

– Бальзам!

Мощные горы рисовались вдали легкими туманно-голубыми призраками. Лаской веяло от теплого воздуха и жирной пахучей земли.

... Часа два простояли мы так, почти не разговаривая, раз-

неженные, задумчивые. Сзади нас раздался голос:

– Что это вы тут делаете?

Наш сосед по дивану стоял за моей спиной.

– Чувствуете, какой воздух? – спросил я.

– Да. Попробую-ка и я открыть другое окошечко.

– Нет, – возразил Незапяткин. – Все окна заделаны по зимнему положению. Это единственное.

– Вот он, Кавказ-то! – задумчиво заметил незнакомец. – Красивый, экзотический, как змея-пифон, но и ядовитый, как эта змея! Так же могущий ужалить.

– Почему?

– Кавказ-то? Ведь это разбойничья страна. Вот вы, например, стоите у окна, тихо беседуете, и вдруг из-за того камня – бац! Пуля в висок, и вы без крика валитесь на пол.

– Кто же это... может?

– Ясно, как день: туземцы. Да вот вчера в газетах... не читали газет?

– Нет.

– Ну, как же. Таким точно образом стоял еврей, настройщик роялей, у открытого окна. «Свежим воздухом дышал...» Бац! И не пикнул. Айзенштук фамилия.

– Да за что же, Господи!

– Абреки. Это у них молодечество. Кто больше пассажиров настреляет, тот большим уважением в ауле пользуется. Кто меньше десятка уложил, за того ни одна девушка замуж не пойдет.

– Черт знает что! Закроем окно, Незапяткин.

– А позвольте-ка, я рискну, – хладнокровно сказал незнакомец, облакачиваясь на узенький подоконник. – Послушайте... если меня тяпнет пуля... возьмите мои вещи и отошлите в Тифлис на Головинский проспект, 11 – Михайленко.

Никогда я до сих пор не видел, чтобы завещания составлялись с таким самообладанием и быстротой.

Для очистки совести мы попытались уговорить нашего сумасброда отойти от рокового окна, но он был непреклонен.

IV

Выходя в Тифлисе из вагона, мы наткнулись на высокую красивую даму, встречавшую нашего сумасброда.

– Ну, как доехал? – спросила она, целуя его.

– Замечательно. Пока попадают такие поразительные спутники, как эти двое (он указал на нас) – по русским железным дорогам еще можно ездить.

Усаживаясь на извозчика, Незапяткин сказал мне:

– Слышал? говорит: поразительные... Мы ему, наверное, тоже понравились? Как ты думаешь?

Я пожал плечами.

А чем же мы плохи?

Первый анекдот обо мне

Недавно я с ужасом прочел два анекдота об известных людях.

Первый был о покойном генерале Драгомирове.

Вот он – буквально:

«Как известно, Драгомиров отличался остроумием и находчивостью.

Один знакомый как-то спросил его:

– Что бы вы сделали, если бы завтра получили известие, что турки перешли границу и находятся уже под Киевом?

Ни слова не говоря, Драгомиров снял с пальца дорогое обручальное кольцо с великолепным бриллиантом и сказал знакомому:

– Наденьте это кольцо себе на ногу.

– Но это невозможно! – отвечал, вскрикнув, удивленный знакомый.

– Вот также невозможно, чтобы турки осмелились напасть на Россию, – хладнокровно ответил покойник.

Эта манера резко и прямолинейно, не стесняясь ничем, говорить то, что он думает, создала ему много врагов, чего нельзя сказать об окружающих».

Второй анекдот такой:

«Покойный поэт Минаев отличался замечательным искусством говорить экспромты.

Вот один из лучших его экспромтов, сказанных на похоронах известного в то время железнодорожного строителя М., отличавшегося всем известной слабостью к слабому полу, который имел несколько побочных семейств, кроме прямого.

Именно, увидев погребальную колесницу с трупом покойника, он сказал находившемуся тут же актеру Б., большому любителю кутнуть и приятелю начинавшего входить в моду Достоевского:

О, человек! Был ты глуп —
Теперь лежит пред нами труп.
Покойся, милый прах, до радостного утра,
Пока червяк не съел твое все нутро.

Остроумные экспромты известного поэта доставляли ему в свое время множество врагов».

* * *

Выше я сказал, что прочел эти два анекдота с ужасом. Действительно – вдумайтесь в смысл всей этой полуграмотной чепухи: вплетает ли она новые лавры в чудесные венки, которыми увенчаны оба «известных покойника».

И прочтя эти бессмысленные строки, я, по ассоциации, призадумался над своей будущей судьбой. Действительно:

вчера в одной из газет перед моим именем я впервые увидел пряное, щекочущее слово: «известный».

Странное слово... Странное ощущение...

Итак – я «известный».

Неужели?

Я человек по характеру очень скромный и никогда не думал о себе этого... Ну – пишу. Ну – читают.

Но чтобы все это было до такой степени – вот уж не представлял себе!

И тут же я понял, какую громадную ответственность налагает на меня это слово.

– Действительно – когда я был неизвестный – пиши как хочешь, о чем хочешь и когда хочешь, ешь, как все люди едят, ходи в толпе, толкаясь, как и другие толкаются, и если на твоём пути завязалась между двумя прохожими драка – ты можешь остановиться, полюбоваться на эту драку или даже, в зависимости от темперамента, принять в ней деятельное участие, защищая угнетенную, по твоему мнению, сторону.

А в новом положении с титулом «известный» – попробуй-ка!

Когда ешь – все смотрят тебе в рот. Вместо большого куса откусываешь маленький кусочек, мизинец отставляешь, стараясь держать руку изящнее, и косточки от цыпленка уже не выплевываешь беззаботно на край тарелки (скажут – некрасиво), а, давясь, жуешь и проглатываешь, как ка-

кой-нибудь оголодавший сеттер.

Съешь лишний кусок – все глазающие скажут – обжора.

Покажешься под руку со знакомой барышней – развратник.

Заступишься в уличной драке за угнетенного – все закричат: буян, драчун! («Наверное, пьян был!.. Вот они, культурные писатели... А еще известный! Нет, Добролюбов, Белинский и Писарев в драку бы не полезли».)

И, благодаря этому, столько народа, заслуживающего быть битым, остается не битым, что нравы грубеют, и жизнь делается еще тяжелее.

Наибольшая же трагедия – это те анекдоты о моем уме, находчивости и сообразительности, которые будут рассказываться и приводиться в газетах (отделе «смесь») после моей смерти...

Воображаю:

«Известный (раз другие писали, могу же и я написать?) писатель Аркадий Аверченко отличался дьявольской сообразительностью и находчивостью.

Один знакомый спросил его:

– Кто, по-вашему, выше – Шекспир или Гете?

– Мой портной Кубакин, – отвечал остроумный писатель.

– Почему? – изумился ничего не подозревавший знакомый.

– Потому, – улыбнулся покойник, – что он чуть не трех аршин росту.

Такими язвительными ответами покойный юморист нажил массу врагов среди сильных мира сего».

* * *

Конечно, никто из нас не застрахован от таких «анекдотов», но я сделаю слабую попытку застраховаться от них.

Именно я решил записывать сам все те будущие анекдоты, которые должны печататься после моей смерти.

Для начала позволяю себе привести один анекдот-факт обо мне, имевший место не более месяца тому назад.

Из воспоминаний о покойном Аверченко

Как известно, покойный писатель любил в хорошую минуту весело подшутить над своим ближним, что доставляло ему много врагов и тайных недоброжелателей.

Приводим следующий случай, правдивость которого могут удостоверить многие, пережившие бедного, безвременно погибшего писателя...

Однажды, будучи застигнут в пути снежными заносами и отсиживаясь на какой-то глухой станции, покойный писатель горько жаловался соседям по вагону на то, что если пройдут еще сутки, то всем придется голодать.

Один актер, сидевший около, стал подтрунивать над Аверченко и, в конце концов, заявил:

– Ведь завтра нам всем уже придется бросать жребий – кому из нас быть съеденным... Что вы скажете, Аркадий Тимофеевич, если жребий падет на вас и мы вас съедим?..

– Что я скажу? – ответил, улыбаясь, симпатичный покойник. – Я скажу, что в таком случае рискую очутиться в дураках.

В тот момент никто не понял этого загадочного ответа, но в последние годы он детально разъяснен комментаторами писателя.

Вот, читатели, единственный пока анекдот обо мне. Правится анекдот или нет – это другой вопрос.

Но что он правдив – за это ручаюсь. Приятно быть более предусмотрительным, чем такие умные люди, как генерал Драгомиров и поэт Минаев.

Как женился Панасюк

I

– Будете?

– Где?

– На вечеринке у Мыльниковова.

– Ах, да. Я и забыл, что нынче суббота – день обычной вечеринки у Мыльниковова.

– Ошибаетесь. Сегодня вечеринка у Мыльниковова имен-

но – не обычная.

– А какая?

– Необычная.

– Что же случится на этой вечеринке?

– Панасюк будет рассказывать, как он женился.

– Подумаешь – радость. Кому могут быть интересны матримониальные курбеты Панасюка?..

– С луны вы свалились, что ли? Неужели вы ничего не слышали о знаменитой женитьбе Панасюка?

– Не слышал. А в чем дело?

– Я, собственно, и сам не знаю. Слышал только, что история потрясающая. Вот сегодня и услышим.

– Что ж... Пожалуй, пойду.

– Конечно, приходите. Мыльников говорит, что это нечто грандиозное.

II

После этого разговора я все-таки немного сомневался, стоит ли идти на разглагольствования Панасюка.

Но утром в субботу мне встретился Передрягин, и между нами произошел такой разговор:

– Ну, что у вас нового? – спросил я.

– Да вот сегодня бенефис жены в театре. Новая пьеса идет.

– Значит, вы нынче в театре?

– Нет. У меня, видите ли, тесть именинник.

– Ага. У тестя, значит, будете?

– Нужно было бы, да не могу. Должен провожать нынче начальника. Он за границу едет.

– Чудак вы! Так вы бы и сказали просто, что провожаете начальника.

– Я его не провожаю. Я только сказал, что надо было бы. А, к сожалению, не смогу его проводить.

– Что же вы, наконец, будете делать?!

– Вот тебе раз! Будто вы не знаете!.. Да ведь нынче Панасюк у Мыльниковова будет о своей женитьбе докладывать.

– Тьфу ты, господи! Решительно вы с ума сошли с этим Панасюком. Что особенного в его женитьбе?

– Это нечто гомеровское. Нечто этакое шекспировское.

– Что же именно?

– Не знаю. Сегодня вот и услышим.

Тут же я окончательно решил идти слушать Панасюка.

Ш

У Мыльниковова собралось человек двадцать. Было душно, накурено. Панасюка, как редкого зверя, загнали в самый угол, откуда и выглядывала его острая лисья мордочка, щедро осыпанная крупными коричневыми веснушками.

Нетерпение росло, а Панасюк и Мыльников оттягивали начало представления, ссылаясь на то, что еще не все собрались.

Наконец, гул нетерпеливых голосов разрешился взрывом общего негодования, и Панасюк дал торжественное обещание начать рассказ о своем браке через десять минут, независимо от того, все ли в сборе или нет.

– Браво, Панасюк.

– Благослови тебя Бог, дуся.

– Не мучай нас долго, Панасюченочек.

Тут же разнеслась среди собравшихся другая сенсация: рассказ Панасюка будет исполнен в стихах. Панасюка засыпали вопросами:

– Как? Что такое? Разве ты поэт, милый Панасюк? Отчего же ты до сих пор молчал? Мы бы тебе памятник поставили! Поставили бы тебя на кусок гранита, облили бы тебя жидким чугуном – и стой себе на здоровье и родителям на радость.

– Я, господа, конечно, не поэт, – начал Панасюк с сознанием собственного достоинства, – но есть, господа, такие вещи, такие чудеса, которые прозой не передашь. И в данном случае, по-моему, человек, испытавший это, если даже он и не поэт – все-таки он обязан сухую скучную прозу переложить в звучные стихи!!!

– А стихи действительно звучные? – спросил осторожный Передрягин.

– Да, звучности в них немало, – неопределенно ответил Панасюк. – Вот вы сами услышите...

– Да уж пора, – раздался рев голосов. – Десять минут прошло.

– Рассказывайте, Панасюк!

– Декламируй, Панасище.

– Извольте, – согласился Панасюк. – Садитесь, господа, все – так удобнее. Только предупреждаю: если будете перебивать – перестану рассказывать!

– О, не томите нас, любезный Панасюк. Мы будем тихи, как трупы в анатомическом театре.

– И внимательны, как француз к хорошенькой женщине!

– Панасюк, не терзайте!

– Начинаю, господа. Тихо!

IV

Панасюк дернул себя за угол воротника, пригладил жидкие белые волосы и начал глухим торжественным голосом:

Как я женился

Я, не будучи поэтом,

Расскажу, что прошлым летом

Жил на даче я в Терновке,

Повинуясь капризу судьбы-плутовки.

Как-то был там вечер темный,

И ошибся дачей я...

Совершил поступок нескромный

И попал в чужую дачу, друзья.

Вижу комнату я незнакомую...

Вдруг – издали шаги и голоса!!

И полез под кровать я, как насекомое,

Абсолютно провел там два часа.

Входит хозяин, а в руке у него двустволка...

Резкий звонок в передней перебил декламацию Панасюка на самом интересном месте.

Панасюк болезненно поморщился и недовольно сказал:

– Ну, вот, видите, и перебили. А говорили, что больше никого не будет...

Вошел запыхавшийся Сеня Магарычев.

– Не опоздал я? – крикнул он свежим с мороза, диссонирующим с общим настроением голосом.

– Носят тебя черти тут по ночам, – недовольно заметил Мыльников. – Не мог раньше прийти?! Панасюк уже давно начал.

– Очень извиняюсь, господин Панасюк, – расшаркался Магарычев. – Надеюсь, можно продолжать?

– Я так не могу, господа, – раскапризничался Панасюк. – Что же это такое: ходят тут, разговаривают, перебивают, мешают...

– Ну, больше не будем. Больше некому приходиться. Ну, пожалуйста, милый Панасюк, ну, мы слушаем. Не огорчайте нас, дорогой Панасюк. Мы так заинтересованы... Это так удивительно, то, что вы начали.

– В таком случае, – кисло согласился Панасюк – я начну

сначала. Я иначе не могу. – Конечно, сначала! Обязательно!

V

Как я женился

Я, не будучи поэтом,
Расскажу, что прошлым летом
Жил на даче я в Терновке,
Повинуясь капризу судьбы-плутовки.
Как-то был там вечер темный,
И ошибся дачей я...
Совершил поступок нескромный
И попал в чужую дачу друзья.
Вижу комнату я незнакомую,
Вдруг – издали шаги и голоса!!
И полез под кровать я, как насекомое,
Абсолютно провел там два часа.
Входит хозяин, а в руке у него двустволка...

Мы все затаили дыхание, заинтересованные развязкой этой странной истории, как вдруг мертвую паузу прорезал свистящий шепот экспансивного Вовы Туберкуленко:

– Вот в этом месте ты, глупый Магарычев, и перебил чтение!.. Видишь?

Панасюк нахмурил свои бледные брови и поднялся с ме-

ста.

– Ну, господа, если вы каждую минуту будете перебивать меня, то тогда, конечно... я понимаю, что мне нужно сделать: я больше не произнесу ни слова!

– Черт тебя потянул за язык, Туберкуленко! – раздались возмущенные голоса. – Сидел бы и молчал!

– Да что же я, господа... Я только заметил Магарычеву, что он перебил нас на этом самом месте.

«Входит хозяин, а в руке у него двустволка...»

– Нет, больше я говорить не буду, – угрюмо проворчал Панасюк. – Что же это такое: мешают.

– Ну, Панасюк! Милый! Алмазный Панасюк. Даем тебе торжественное слово, что свиньи мы будем, базарные ослы будем, если скажем хоть словечко... Мертвецы! Склепы! Гробы!

– Так вот что я вам скажу, господа: если еще раздастся одно словечко или даже шепот – ну вас! Ни звука от меня больше не добьетесь.

– Читайте, драгоценное дитя. Декламируйте, талантливый Панасюк. Мы умираем от нетерпения.

VI

И снова начал Панасюк:

– Как я женился.

Он благополучно прочел первые десять строк... Когда на-

чал одиннадцатую – нахмурил предостерегающе брови и подозрительно поглядел на Туберкуленку и Магарычева.

Наконец, дошел до потрясающего места:

И полез под кровать я, как насекомое,

Абсолютно провел там два часа.

Входить хозяин, а в руке у него дву... ствол...

Туберкуленко повел бровями и погрозил украдкой Магарычеву пальцем: тот смешливо дернул уголком рта и сделал серьезное лицо.

– Не буду больше читать, – сказал Панасюк, вставая с побледневшим лицом и прыгающей нижней челюстью. – Что же это такое? Издевательство это над человеком?! Инквизиция?!

Все были искренно возмущены Туберкуленкой и Магарычевым.

– Свиньи! Не хотите слушать – уходите!

– Господа, – вертелся сконфуженный Туберкуленко. – Да ведь я же ничего и не сказал. Только когда он дошел до хозяина с двустволкой...

– Ну?!

– Я и вспомнил, что он уже два раза доходил до этого места. И дальше ни на шаг?!

– Ну?!

– Так вот я и испугался, чтобы и в третий раз кто-нибудь не перебил его на «хозяине с двустволкой».

VII

Почти полчаса пришлось умолять Панасюка снова начать свою захватывающую повесть о том, как он женился. Клялись все, били себя в грудь, гарантировали Панасюку полное спокойствие и тщательное наблюдение за беспокойным элементом.

И снова загудел глухой измученный голос Панасюка:

Как я женился

Я, не будучи поэтом,
Расскажу, что прошлым летом...

Все слушатели скроили зверские лица и свирепо поглядывали друг на друга, показывая всем своим видом, что готовы задушить всякого, который осмелился бы хоть вздохом помешать Панасюку.

По мере приближения к знаменитому месту с залезанием под кровать, лица всех делались напряженнее и напряженнее, глаза сверлили друг друга с самым тревожным видом, некоторых охватила даже страшная нервная дрожь... А когда бледный Панасюк бросил в толпу свистящим тоном свое потрясающее: «...Входит хозяин, а в руке у него двустволка...» – грянул такой взрыв неожиданного хохота, что дым-

ный воздух заколебался, как студень, а одна электрическая лампочка мигнула, смертельно испуганная, и погасла. Панасюк вскочил и рванулся к дверям...

Десятки рук протянулись к нему; удержали; вернули; стояли все на коленях и, униженно ползая во прахе, молили Панасюка начать свою поэму еще один раз: «самый последний разок; больше не будем даже и просить»...

– Господа! – кричал Передрягин. – Дети мы, что ли, или идиоты какие-нибудь? Неужели мы на десять минут не можем быть серьезными? Ведь это даже смешно. Как дикари какие-то!! Все мы смертельно хотим дослушать эту удивительную историю – и что же? Дальше 12-й строки не можем двинуться.

– Если бы ему перевалить только через хозяина с двустволкой, – соболезнующе сказал кто-то, – дальше бы уже пошло как по маслу.

VIII

Долго уговаривали Панасюка; долго ломался Панасюк. Наконец, начал с торжественной клятвой, что «это в самый, самый последний раз»:

Как я женился

Я, не будучи поэтом,

Расскажу...

Каменные лица были у слушателей; мертвым покоем веяло от них.

...Вижу комнату я незнакомую,
Вдруг – издали шаги и голоса!
И полез под кровать я, как насекомое...

Сжатые губы, полузакрытые глаза ясно говорили, что обладатели их решили лопнуть, но выдержать то страшное давление, то ужасное желание, которое распирало каждого.

Это были не люди, – это были мраморные статуи!

– ...Входит хозяин... а в руке у него... двустволка...

Статуи заколебались, часть их обрушилась на пол, катаясь в судорогах ледящего кровь смеха, часть бросилась к Панасюку, но он оттолкнул протянутые руки и, замкнувшись сам в себя, закусив губу, молча вышел.

* * *

Эта история на другой день разнеслась по всему городу.

И с тех пор никому, никогда и нигде бедный Панасюк не мог рассказать «историю о том, как он женился» – дальше знаменитой фразы:

...Входит хозяин, а в руке у него двуствол... ха, ха!

Ха-ха-ха-ха-ха!

Отдел II

Окружающие нас

Окружающие нас

Один человек решил жениться.

Мать

— Я женюсь, — сказал он матери.

Подумав немного, мать заплакала. Потом утерла слезы.

Сказала:

— Деньгами много?

— Не знаю.

— Ну, хоть так, тряпками-то — есть что-нибудь? Серебро тоже понадобится, посуда. А то потомхватишься — ни ложечки, ни салфеточки, ни тарелочки... Все покупать нужно. А купчишки теперь так дерут, что приступу ни к чему нет. Обстановку в гостиной, я думаю, переменить нужно, эта пообтрепалась так, что принять приличного человека стыдно. Перины есть? Пуховые? Не спрашивал?

И не спросила мать:

— А любит тебя твоя будущая жена?

Любовница

– Я женюсь, – сказал он любовнице.

Любовница побледнела.

– А как же я?

– Ты постарайся меня забыть.

– Я отравлюсь.

– Если ты меня хоть немножко любишь – ты не сделаешь этого.

– Я? Тебя? Люблю? Ну, знаешь ли, милый!.. Кстати, ко мне сегодня Сергей Иваныч три раза по телефону звонил. Думаю весной поехать с ним на Кавказ.

Помолчав, спросила:

– Что ж она... богатая?

– Кажется.

И с облегченным сердцем подумала: «Ну, значит, он меня оставляет из-за денег. Кажется, что это не так обидно».

И не спросила любовница:

– А любит тебя твоя будущая жена?

Горничная

– Я женюсь, – сказал он горничной.

– А как же я? Меня-то вы оставите? Или искать другое

место?

– Почему же? Вы останетесь.

– Только имейте в виду, барин, что ежели вас двое, то жалованье тоже другое. Во-первых, около женщины больше работы, а потом и мелкой стирки прибавится, то да се. Не иначе пять рублей прибавить нужно.

Даже в голову не пришло горничной задать своему барину простой человеческий вопрос:

– А любит вас ваша будущая жена?

Прохожий

У прохожего было такое веселое полупьяное располагающее к себе лицо, что собиравшийся жениться человек улыбнулся прохожему и сказал:

– А я, знаете, женюсь.

– И дурак.

Растерялся собиравшийся жениться:

– То есть?

– Да уж будьте покойны.

И, нырнув в толпу, не догадался спросить этот прохожий...

– А любит вас ваша будущая жена?

Друг

– Я женюсь, – сказал он своему другу.

– Вот тебе раз!

После некоторого молчания сказал друг:

– А как же я? Значит, нашей дружбе крышка?

– Почему же? Мы по-прежнему останемся друзьями.

И только тут задал друг вопрос, который не задавал никто:

– А любит тебя твоя будущая жена?

Взор человека, собиравшегося жениться, слегка затуманился.

– Не знаю. Думаю, что не особенно...

Друг, что-то соображая, пожевал губами.

– Красивая?

– Очень.

– М-да... Н-да... Тогда конечно... В общем, я думаю: отчего бы тебе и не жениться?

– Я и женюсь.

– Женись, женись.

* * *

Холодно и неуютно живется нам на белом свете. Как тараканам за темным выступом остывшей печи.

Знарок женского сердца

I

Когда на Макса Двухтробникова напал прилив откровенности, он простодушно признавался:

– Я не какой-нибудь там особенный человек... О нет! Во мне нет ничего эдакого... небесного. Я самый земной человек.

– В каком смысле – земной?

– Я? Реалист-практик. Трезвая голова. Ничего небесного. Только земное и земное. Но психолог. Но душу человеческую я понимаю.

Однажды, сидя в будуаре Евдокии Сергеевны и глядя на ее распухшие от слез глаза, Макс пожал плечами и сказал:

– Плакали? От меня ничего не скроется... Я психолог. Не нужно плакать. От этого нет ни выгоды, ни удовольствия.

– Вам бы только всё выгода и удовольствие, – покачала головой Евдокия Сергеевна, заправляя под наколку прядь полуседых волос.

– Обязательно. Вся жизнь соткана из этого. Конечно, я не какой-нибудь там небесный человек. Я земной.

– Да? А я вот вдвое старше вас, а не могу разобраться в жизни.

Она призадумалась и вдруг решительно повернула заплаканное лицо к Максусу.

– Скажите, Мастаков – пара для моей Лиды или не пара?

– Мастаков-то? Конечно, не пара.

– Ну вот: то же самое и я ей говорю. А она и слышать не хочет. Влюблена до невероятности. Я уж, знаете, – грешный человек – пробовала и наговаривать на него, и отрицательные стороны его выставлять – и ухом не ведёт.

– Ну знаете... Это смотря какие стороны выставить... Вы что ей говорили?

– Да уж будьте покойны – не хорошее говорила: что он и картёжник, и мот, и женщины за ним бегают, и сам он-де к женскому полу равнодушен... Так расписала, что другая бы и смотреть не стала.

– Мамаша! Простите, что я называю вас мамашей, но в уме ли вы? Ведь это нужно в затмении находиться, чтобы такое сказать!! Да знаете ли вы, что этими вашими наговорами, этими его пороками вы втрое крепче привязали ее сердце!! Мамаша! Простите, что я вас так называю, но вы поступили по-сапожнически.

– Да я думала ведь, как лучше.

– Мамаша! Хуже вы это сделали. Всё дело испортили. Разве так наговаривают? Подумаешь – мот, картёжник... Да ведь это красиво! В этом есть какое-то обаяние. И Германн в «Пиковой даме» – картёжник, а смотрите, в каком он ореоле ходит... А отношение женщин... Да ведь она теперь, Лида

ваша, гордится им, Мастаковым этим паршивым: «Вот, дескать, какой покоритель сердец!.. Ни одна перед ним не устоит, а он мой!» Эх вы! Нет, наговаривать, порочить, унижать нужно с толком... Вот я наговорю так наговорю! И глядеть на него не захочет...

– Макс... Милый... Поговорите с ней.

– И поговорю. Друг я вашей семье или не друг? Друг. Ну значит, моя обязанность позаботиться. Поговорим, поговорим. Она сейчас где?

– У себя. Кажется, письмо ему пишет.

– К чёрту письмо! Оно не будет послано!.. Мамаша! Вы простите, что я называю вас мамашей, но мы камня на камне от Мастакова не оставим.

II

– Здравствуйте, Лидия Васильевна! Письмецо строчите? Дело хорошее. А я зашёл к вам поболтать. Давно видели моего друга Мастакова?

– Вы разве друзья?

– Мы-то? Водой не разольёшь. Я люблю его больше всего на свете.

– Серьёзно?

– А как же. Замечательный человек. Кристальная личность.

– Спасибо, милый Макс. А то ведь его все ругают... И ма-

ма, и... все. Мне это так тяжело.

– Лидочка! Дитя моё... Вы простите, что я вас так называю, но... никому не верьте! Про Мастакова говорят много нехорошего – всё это ложь! Преотчаянная, зловонная ложь. Я знаю Мастакова, как никто! Редкая личность! Душа изумительной чистоты!..

– Спасибо вам... Я никогда... не забуду...

– Ну, чего там! Стоит ли. Больше всего меня возмущает, когда говорят: «Мастаков – мот! Мастаков швыряет деньги куда попало!» Это Мастаков-то мот? Да он, прежде чем извозчика нанять, полчаса с ним торгуется! Душу из него вымотаёт. От извозчика пар идёт, от лошади пар идёт, и от пролётки пар идёт. А они говорят – мот!.. Раза три отойдёт от извозчика, опять вернётся, и всё это из-за гривенника. Ха-ха! Хотел бы я быть таким мотом!

– Да разве он такой? А со мной когда едет – никогда не торгуется.

– Ну что вы... Кто же осмелится при даме торговаться?! Зато потом, после катанья с вами, придёт, бывало, ко мне – и уж он плачет, и уж он стонет, что извозчику целый лишний полтинник передал. Жалко смотреть, как убивается. Я его ведь люблю больше брата. Замечательный человек. Замечательный!

– А я и не думала, что он такой... экономный.

– Он-то? Вы ещё не знаете эту кристальную душу! Твоего, говорит, мне не нужно, но уж ничего и своего, говорит, не

упущу. Ему горничная каждый вечер счёт расходов подаёт, так он копейки не упустит. «Как, говорит, ты спички поставила 25 копеек пачка, а на прошлой неделе они 23 стоили? Куда две копейки дела, признавайся!» Право, иногда, глядя на него, просто зависть берёт.

– Однако он мне несколько раз подносил цветы... Вон и сейчас стоит букет – белые розы и мимоза – чудесное сочетание.

– Знаю! Говорил он мне. Розы четыре двадцать, мимоза два сорок. В разных магазинах покупал.

– Почему же в разных?

– В другом магазине мимоза на четвертак дешевле. Да ещё выторговал пятнадцать копеек. О, это настоящий американец! Воротнички у него, например, гуттаперчевые. Каждый вечер резинкой чистит. Стану я, говорит, прачек обогащать. И верно – с какой стати? Иногда я гляжу на него и думаю: «Вот это будет муж, вот это отец семейства!» Да... счастлива будет та девушка, которая...

– Пойдите... Но ведь он получает большое жалованье! Зачем же ему...

– Что? Быть таким экономным? А вы думаете, пока он вас не полюбил, ему женщины мало стоили?

– Ка-ак? Неужели он платил женщинам? Какая гадость!

– Ничего не гадость. Человек он молодой, сердце не камень, а женщины вообще, Лидочка (простите, что я называю вас Лидочкой), – страшные дуры.

– Ну уж и дуры.

– Дуры! – стукнул кулаком по столу разгорячившийся Макс. – Спрашивается: чем им Мастаков не мужчина? Так нет! Всякая нос воротит. Он, говорит она, – неопрятный. У него всегда руки грязные. Так что ж, что грязные? Велика важность! Зато душа хорошая. Зато человек кристальный! Эта вот, например, изволите знать?... Марья Кондратьевна Ноздрякова – изволите знать?

– Нет, не знаю.

– Я тоже, положим, не знаю. Но это не важно. Так вот, она вдруг заявляет: «Никогда я больше не поцелую вашего Мастакова – противно». – «Это почему же-с, скажите на милость, противно? Кристальная, чудесная душа, а вы говорите – противно?...» – «Да я, – говорит, – сижу вчера около него, а у него по воротнику насекомое ползёт...» – «Сударыня! Да ведь это случай! Может, как-нибудь нечаянно с кровати заползло», – и слышать не хочет глупая баба! «У него, говорит, и шея грязная». Тоже, подумаешь, несчастье, катастрофа! Вот, говорю, уговорю его сходить в баню, помыться, и всё будет в порядке! Нет, говорит! И за сто рублей его не поцелую. За сто не поцелуешь, а за двести небось поцелуешь. Все они хороши, женщины ваши.

– Макс... Всё-таки это неприятно, то, что вы говорите...

– Почему? А по-моему, у Мастакова ярко выраженная индивидуальность... Протест какой-то красивый. Не хочу чистить ногти, не хочу быть как все. Анархист. В этом есть ка-

кой-то благородный протест.

– А я не замечала, чтобы у него были ногти грязные...

– Обкусывает. Все великие люди обкусывали ногти. Наполеон там, Спиноза, что ли. Я в календаре читал.

Макс, взволнованный, помолчал.

– Нет, Мастакова я люблю и глотку за него всякому готов перервать. Вы знаете, такого мужества, такого терпеливого перенесения страданий я не встречал. Настоящий Муций Сцевола, который руку на сковороде изжарил.

– Страдание? Разве Мастаков страдает?!

– Да. Мозоли. Я ему несколько раз говорил: почему не срежешь? «Бог с ними, не хочу возиться». Чудесная детская хрустальная душа...

Ш

Дверь скрипнула. Евдокия Сергеевна заглянула в комнату и сказала с затаённым вздохом:

– Мастаков твой звонит. Тебя к телефону просит...

– Почему это мой? – нервно повернулась в кресле Лидочка. – Почему вы все мне его навязываете?! Скажите, что не могу подойти... Что газету читаю. Пусть позвонит послезавтра... или в среду – не суть важно.

– Лидочка, – укоризненно сказал Двуутробников, – не будьте так с ним жестоки. Зачем обижать этого чудесного человека, эту большую, ароматную душу!

– Отстаньте вы все от меня! – закричала Лидочка, падая лицом на диванную подушку. – Никого мне, ничего мне не нужно!!!

Двуутробников укоризненно и сокрушённо покачал головой. Вышел вслед за Евдокией Сергеевной и, деликатно взяв её под руку, шепнул:

– Видал-миндал?

– Послушайте... Да ведь вы чудо сделали!! Да ведь я теперь век за вас молиться буду.

– Мамаша! Сокровище моё. Я самый обыкновенный земной человек. Мне небесного не нужно. Зачем молиться? Завтра срок моему векселю на полтора ста рублей. А у меня всего восемьдесят в кармане. Если вы...

– Да господи! Да хоть все полтора ста!..

И, подумав с минуту, сказал Двуутробников снисходительно:

– Ну ладно, что уж с вами делать. Полтора ста так полтора ста. Давайте!

Роковой Воздуходуев

Наклонившись ко мне, сверкая черными глазами и страдальчески искривив рот, Воздуходуев прошептал:

– С ума ты сошел, что ли? Зачем ты познакомил свою жену со мной?!

– А почему же вас не познакомить? – спросил я удивлен-

но.

Воздуходуев опустился в кресло и долго сидел так, с убитым видом.

– Эх! – простонал он. – Жалко женщину.

– Почему?

– Ведь ты ее любишь?

– Ну... конечно.

– И она тебя?

– Я думаю.

– Что ж ты теперь наделал?

– А что?!

– Прахом все пойдет. К чему? Кому это было нужно?

И так в мире много слез и страданий... Неужели еще добавлять надо?

– Бог знает, что ты говоришь, – нервно сказал я. – Какие страдания?

– Главное, ее жалко. Молодая, красивая, любит тебя (это очевидно) и... что ж теперь? Дернула тебя нелегкая познакомиться нас...

– Да что с ней случится?!!

– Влюбится.

– В кого?!

Он высокомерно, с оттенком легкого удивления поглядел на меня.

– Неужели ты не понимаешь? Ребенок маленький, да? В меня.

– Вот тебе раз! Да почему же она в тебя должна влюбиться?

Удивился он:

– Да как же не влюбиться? Все влюбляются. Ну, рассуждай ты логично: если до сих пор не было ни одной встреченной мною женщины, которая в меня бы не влюбилась, то почему твоя жена должна быть исключением?

– Ну, может быть, она и будет исключением.

Он саркастически усмехнулся. Печально поглядел вдаль:

– Дитя ты, я вижу. О, как бы я хотел, чтобы твоя жена была исключением... Но – увы! Исключения попадают только в романах. Влюбится, брат, она. Влюбится. Тут уж ничего не поделаешь.

– Пожалел бы ты ее, – попросил я.

Он пожал плечами.

– Зачем? От того, что я ее пожалею, чувства её ко мне не изменятся. Ах! Зачем ты нас познакомил, зачем познакомил?! Какое безумие!

– Но, может быть... Если вы не будете встречаться...

– Да ведь она меня уже видела?

– Видела.

– Ну, так при чем тут не встречаться?

Лицо мое вытянулось.

– Действительно... Втяпались мы в историю.

– Я ж говорю тебе!

Тяжелое молчание. Я тихо пролепетал:

– Воздуходуев!

– Ну?

– Если не ее, то меня пожалей.

В глазах Воздуходуева сверкнул жестокий огонек.

– Не пожалею. Пойми же ты, что я не господин, а раб своего обаяния, своего успеха. Это – тяжелая цепь каторжника, и я должен влачить ее до самой смерти.

– Воздуходуев! Пожалей!

В голосе его сверкнул металл:

– Н-нет!

В комнату вошла молодая барышня, хрупкого вида блондинка, с раз навсегда удивленными серыми глазами.

– Анна Лаврентьевна! – встал ей навстречу Воздуходуев. – Отчего вы не пришли ко мне?

– Я? К вам? Зачем?

– Женщина не должна спрашивать «зачем?». Она должна идти к мужчине без силы и воли, будто спящая с открытыми глазами, будто сомнамбула.

– Что вы такое говорите, право? Как так я пойду к вам ни с того ни с чего?

– Слабее, – шепнул мне Воздуходуев. – Последние усилия перед сдачей.

И отчеканил ей жестким металлическим тоном:

– Я живу: Старомосковская, 7. Завтра в три четверти девятого. Слышите?

Анна Лаврентьевна бросила взгляд на меня, на Воздухо-

дуева, на вино, которое мы пили, пожалала плечами и вышла из комнаты.

– Видал? – нервно дернув уголком рта, спросил Воздуходуев. – Еще одна. И мне жалко ее. Барышня, дочь хороших родителей... А вот, поди ж ты!

– Неужели придет?!

– Она-то? Побежит. Сначала, конечно, борьба с собой, колебания, слезы, но, по мере приближения назначенного часа, роковые для нее слова: «Воздуходуев, Старомосковская, 7» – эти роковые слова все громче и громче будут звучать в душе ее. Я вбил их, вколотил в ее душу – и ничто, никакая сила не спасет эту девушку.

– Воздуходуев! Ты безжалостен.

– Что ж делать. Мне ее жаль, но... Я думаю, Господь Бог сделал из меня какое-то орудие наказания и направляет это орудие против всех женщин. (Он горько, надтреснуто засмеялся.) Аттила, бич Божий.

– Ты меня поражаешь! В чем же разгадка твоего такого страшного обаяния, такого жуткого успеха у женщин?

– Отчасти наружность, – задумчиво прошептал он, поглаживая себя по впалой груди и похлопывая по острым коленям. – Ну, лицо, конечно, взгляд.

– У тебя синее лицо, – заметил я с оттенком почтительно-го удивления.

– Да. Брюнет. Частое бритье. Иногда это даже надоедает.

– Бритье?

– Женщины.

– Воздуходуев!.. Ну, не надо губить мою жену, ну, пожалуйста.

– Тссс! Не будем говорить об этом. Мне самому тяжело. Постой, я принесу из столовой другую бутылку. Эта суха, как блеск моих глаз.

Следующую бутылку пили молча. Я думал о своем неприветливом суровом будущем, о своей любимой жене, которую должен потерять, – и тоска щемила мое сердце.

Воздуходуев, не произнося ни слова, только поглядывал на меня да потирал свой синий жесткий подбородок.

– Ах! – вздохнул я наконец. – Если бы я пользовался таким успехом...

Он странно поглядел на меня. Лицо его все мрачнело и мрачнело – с каждым выпитым стаканом.

– Ты бы хотел пользоваться таким же успехом?

– Ну, конечно!

– У женщин?

– Да.

– Не пожелал бы я тебе этого.

– Беспокойно?

Он выпил залпом стакан вина, со стуком поставил его на стол, придвинулся, положил голову ко мне на грудь и, после тяжелой паузы, сказал совершенно неожиданно:

– Мой успех у женщин. Хоть бы одна собака посмотрела на меня! Хоть бы кухарка какая-нибудь подарила меня любо-

вью... Сколько я получил отказов! Сколько выдержал насмешек, издевательств... Били меня. Одной я этак-то сообщил свой адрес, по обыкновению гипнотизируя ее моим властным тоном, а она послушала меня, послушала, да – хлоп! А сам я этак вот назначу час, дам адрес и сажу дома, как дурак: а вдруг, мол, явится.

– Никто не является? – сочувственно спросил я.

– Никто. Ни одна собака. Ведь я давеча при тебе бодрился, всякие ужасы о себе рассказывал, а ведь мне плакать хотелось. Я ведь и жене твоей успел шепнуть роковым тоном: «Старомосковская, семь, жду в десять». А она поглядела на меня, да и говорит: «Дурак вы, дурак, и уши холодные». Почему уши холодные? Не понимаю. Во всем этом есть какая-то загадка... И душа у меня хорошая, и наружностью я не урод – а вот, поди ж ты! Не везет. Умом меня тоже Бог не обидел. Наоборот, некоторые женщины находили меня даже изысканно-умным, остроумным. Одна баронесса говорила, что сложен я замечательно – прямо хоть сейчас лепи статую. Да что баронесса! Тут из-за меня две графини перецарапались. Так одна все время говорила, что «вы, мол, едва только прикоснетесь к руке – я прямо умираю от какого-то жуткого, жгучего чувства страсти». А другая называла меня «барсом». Барс, говорит, ты этакий. Ей-богу. И как странно: только что я с ней познакомился, адреса даже своего не дал, а она сама вдруг: «Я, говорит, к вам приеду. Не гоните меня! Я буду вашей рабой, слугой, на коленях за вами поползу»...

Смешные они все. Давеча и твоя жена. «От вас, – говорит, – исходит какой-то ток. У вас глаза холодные, и это меня волнует»...

После долгих усилий я уловил-таки взгляд Воздуходуева. И снова читалось в этом взгляде, что Воздуходуев уже устал от этого головокружительного успеха, и что ему немного жаль взбалмошных, безвольных, как мухи к меду, льнущих к нему женщин...

С некоторыми людьми вино делает чудеса.

Материнство

В 4 года.

Две крохотных девочки сидят на подоконнике, обратившись лицами друг к другу, и шепчутся.

– Твоя кукла не растет?

– Нет... Уж чего, кажется, я ни делала.

– Я тоже. Маленькая все, как и была. Уж я ее и водой потихоньку поливала и за ноги тянула – никаких гвоздей!

– Каких гвоздей?

– Никаких. Это дядя Гриша так говорит: пусто – и никаких гвоздей!..

Серафима, сидящая слева, угнетенно вздыхает:

– А живые дети растут.

– Весело! Сегодня дите два аршина, завтра сто – весело!

– Когда выйду замуж, будут у меня детишки – одна возня с ними.

– Симочка, – шепчет другая, глядя вдаль широко раскрытыми глазами. – А сколько их будет?

– Пять. У одного будут черненькие глазки, а у другого зелененькие.

– А у меня будет много-много дитев!

– Ну, не надо, чтобы у тебя много! Лучше у меня много.

– Нет, у меня! У одного будут розовые глазки, у другого желтенькие, у другого беленькие, у другого красненькие.

Зависть гложет сердце Симочки:

– А я тебя ударю!

Дергает свою многодетную подругу за волосы. Плач.

Святое материнство!

В 12 лет.

– Федор Николаич! Вы уже во втором классе? Поздравляю.

– Да, Симочка. Вы говорили, что когда я чего-нибудь достигну, вы... этого... женитесь на мне. Вот... я... достиг...

– Поцелуйте мне... руку... Федор Николаич.

– Симочка! я никогда не унижался с женщинами до этого, но вам извольте – я целую руку! Мне для вас ничего не жалко.

– Раз вы поцеловали, нам нужно пожениться. Как вы смотрите на детей?

– Если не ревут – отчего же.

– Слушайте, Федор Николаич... Я хочу так: чтобы у нас было двое детей. Один у меня от вас, а другой у вас от меня.

– Я бы, собственно, трех хотел.

– А третий от кого же?

– Третий? Ну, пусть будет наш общий.

– Одену я их так: мальчика в черный бархатный костюмчик, на девочке розовое, с голубым бантом.

– Наши дети будут счастливые.

– В сорочках родятся.

– И лучше. Пока маленькие – пусть в сорочках и бегают. Дешевле.

– Какой вы практик. А мне все равно. Лишь бы дети.

Святое материнство!

В 18 лет.

Разговор с подругой:

– Симочка! Когда ты выйдешь замуж – у тебя будут дети?

– Конечно! Двое. Мальчик – инженер с темными усиками, матовая бледность, не курит, медленные благородные движения; девочка – известная артистка. Чтобы так играла, что все будут спрашивать: «Господи, да кто же ее мать? Ради Бога, покажите нам ее мать». Потом я ее выдам замуж... За ху-

дожника: бледное матовое лицо, темные усики, медленные благородные движения, и чтобы не курил.

Святое материнство!

В 22 года.

– Я, конечно, Сережа, против детей ничего не имею, но теперь... когда ты получаешь сто сорок да сестре посылаешь ежемесячно двадцать восемь... Это безумие.

– Но, Симочка...

– Это безумно! понимаешь ты? До безумия это безумно. Постарайся упрочить свое положение, и тогда...

Святое материнство!

В 30 лет.

– Сережа! Мне еще 27 лет, и у меня фигура, как у девушки... Подумай, что будет, если появится ребенок? Ты не знаешь, как дети портят фигуру...

– Странно... Раньше ты говорила, что не хочешь плодить нищих. Теперь, когда я богат...

– Сережа! Я для тебя же не хочу быть противной! Мне двадцать седьмой год, и я... Сережа! Одним словом – время еще не ушло!

Святое материнство!

В 48 лет

– Доктор! Помогите мне – я хочу иметь ребенка!!! Понимаете? Безумно хочу.

– Сударыня. В этом может помочь только муж и Бог. Сколько вам лет?

– Вам я скажу правду – 46. Как вы думаете: в этом возрасте может что-нибудь родиться?

– Может!

– Доктор! Вы меня воскрешаете.

– У вас может, сударыня, родиться чудесная, здоровенькая, крепкая... внучка!..

Профессионал

На скачках или в театре – это не важно – бритый брюнет спросил бородатого блондина:

– Видишь вот этого молодого человека с темными усиками, в пенсне?

– Вижу.

– Это Мушуаров.

– Ну?

– Мушуаров.

Лошадь ли пробежала мимо, или любимая актриса вышла на сцену – не важно, но что-то, одним словом, отвлекло вни-

мание друзей, и разговор о Мушуарове прекратился.

И только возвращаясь со скачек или из театра – это не важно, – бородатый блондин спросил бритого брюнета:

– Постой... Зачем ты мне давеча показал этого Мушуарова?

– А как же! Замечательный человек.

– А я его нашел личностью совершенно незначительной. Что ж он, сыворотку против чумы открыл, что ли?

– Еще забавнее. Пользуется безмерным, потрясающим успехом у женщин!

– Действительно. При такой тусклой наружности – это замечательно.

– Непостижимо.

– Загадочно.

– Таинственно.

– И ты не знаешь тайны этого безумного успеха?

– Совершенно недоумеваю.

А у Мушуарова, действительно, была своя тайна. Скушав за своим одиноким столом суп, котлеты и клюквенный кисель, Мушуаров, с зубочисткой в левом углу рта, поднимается с места и – сытый, отяжелевший – лениво бредет в кабинет; усаживается удобнее в кожаное кресло, поднимает голову, будто что-то вспоминая (очевидно, номер одного из многих телефонов), и, наконец, нажав кнопку, цедит сквозь торчащую в зубах зубочистку:

– Центральная? Дайте, барышня, 770-17. Благодарю вас.

– Кто говорит? – доносится издали свежий женский голос.

– Вы, Екатерина Николаевна? Здравствуйте, Екатерина Николаевна. Здравствуйте...

Странно: в голосе его звучит самая неподдельная хватающая за душу печаль.

– Мушуаров? Здравствуйте. Что скажете?

– Что скажу? Скажу, что вы должны быть нынче вечером у меня. Слышите? Я так хочу.

– Послушайте... Опять за старое? Ведь я вам уже сказала, что не люблю вас, и, право, удивляюсь...

– Екатерина Николаевна, – тихо, с какой-то странной сдержанностью отчеканивает Мушуаров. – Конечно, всякий волен поступать, как ему заблагорассудится, и я даже смотрю на это дело так: всякий имеет право умертвить другого человека, если, конечно, душа его молчит и ему не страшно принять кровавый грех на эту душу...

– Кто кого умерщвляет? Что вы такое говорите?

– Слово «умерщвляет» я употребил в фигуральном смысле, но это почти так...

Он делает долгую паузу. Эта пауза леденит сердце Екатерины Николаевны. Ей кажется, что Мушуаров в этот момент подпер голову рукой и погрузился в мрачные мысли.

Однако пауза делового Мушуарова не пропадает даром: он успевает взглянуть на часы, поправить отстегнувшийся брелок и бросает в корзину для бумаг какой-то скомканный

конверт, неряшливо белевший на ковре.

– Да... Итак – прощайте, Екатерина Николаевна... Довольно. Я решил вам сказать об этом потому, что думаю – вам так будет легче.

– О чем сказать? Я вас не понимаю.

– Не понимаете? – криво усмехается в трубку Мушуаров. – Вы меня всю жизнь не понимали... А сейчас у меня к вам одна просьба: ради Бога, не ходите ко мне на панихиды, не провожайте меня на кладбище – терпеть не могу всей этой пошлятины.

– Мушуаров!!! – тонкой струной болезненно звенит голос невидимой Екатерины Николаевны. – С ума вы сошли? Что вы такое говорите!!

– Екатерина Николаевна, – горько смеется Мушуаров, – телефон многие ругают, но вот вам одно из его преимуществ: вы со мной говорите, слышите сейчас мой голос, но удержать меня от того, что я задумал, изменить мое решение – вы не можете! Когда вы повесите трубку, то через пять минут...

Голос его срывается от волнения; он вынимает из жилетного кармана часы, хлопает крышкой раза два у самой телефонной трубки и, закусив губы, говорит со стоном:

– Слышите вы это щелканье курка? Мой маузер чует кровь и щелкает зубами, как голодный волк перед кровавым пиром!..

– Мушуаров, милый... Ради Бога, одну минутку, – доносится издали торопливый, испуганный голос. – Подожди-

те, не вешайте трубку... Дайте мне честное слово, что вы не повесите трубку, пока меня не выслушаете...

– Хорошо, – соглашается Мушуаров. – Ради того чувства, которое теперь уносит меня в неведомый мир, я выслушаю вас.

– Мушуаров, голубчик! Подумайте только, – что вы хотите сделать?.. Жизнь так прекрасна...

– Без вас? Ха-ха-ха! Вы меня смешите, Екатерина Николаевна. Нет уж – что там и говорить...

– Мушуаров! Еще одну минутку... Вы ради меня не должны делать это с собою! Подумайте, какой вы готовите мне ужас, какая предстоит мне страшная жизнь... Жить с сознанием, что на твоей совести смерть человека... Пожалейте меня, Мушуаров!

– О Екатерина Николаевна! К чему такие громкие слова? Через две-три недели ваши терзания утихнут, а через год-два вы и думать позабудете, что где-то когда-то жил такой серый, незаметный человечек Мушуаров, который умер потому, что любил. Что я вам такое? Кустик при дороге, мимо которого проходит путник по своим делам; смял путник своей ногой этот кустик и даже не заметил своего поступка...

– Мушуаров! Вы не сделаете этого.

Горько смеется Мушуаров.

– Ну, не будем об этом говорить, Екатерина Николаевна. Довольно. У меня лежат две ваши книги. Мои родственники потом, конечно, не откажутся выдать их вам... Что еще? Да!

Я вам проиграл на пари цветы, не успел послать – извините меня... Прощайте, Екатерина Николаевна... Не поминайте лих...

– Пойдите!!! Мушуаров!!! Ах, как вы меня мучаете...

– А вы думаете, мне легко?

– Одну минутку!!! Чего вы от меня хотите?

– Я? От вас? Бог с вами. Ничего я от вас не хочу. Да-а... А, в сущности, какое это странное чувство... Через пять-шесть минут...

– Пойдите!!! Ведь вы просили, чтобы я к вам... приехала?

– Екатерина Николаевна! Не будем говорить о том, что невозможно!

– Ну... а если бы я... приехала?..

– К чему? Приедете, чтобы сказать, что вы ко мне равнодушны? Нет, зачем же. Я насиловать вашу волю не хочу. Я не такой. Итак – прощ...

– Одну минутку, сумасшедший!!! Ну, а если мне просто хочется вас видеть – можно к вам приехать?

– Что ж... приезжайте.

– И вы даете мне слово, что до моего приезда... вы... не выкинете никакого... безумства...

– Ха! Ха! Вы хотите сделать осужденному маленькую отсрочку? Что ж... спасибо за милосердие.

– Мушуаров, Мушуаров... Что вы со мной делаете!..

Пауза.

– Мушуаров... Через час я буду у вас.

– Дворянская, второй дом от угла, парадная дверь, третий этаж, дверь налево. Я сам вам открою.

Где-то далеко от Дворянской (второй дом от угла) мечется сердобольная женская душа; как подстреленная охотником птица, мечется женщина, натываясь на стулья и двери, в поисках шляпы, кофточки, боа... Нужно торопиться, потому что Бог знает, что может произойти от ее промедления на Дворянской, второй дом от угла. А на Дворянской происходит вот что:

– Марья! – кричит Мушуаров, поднимаясь с кресла. – Приготовь самовар, купи конфет, тех, знаешь, что я давеча говорил, да груш купи, что ли... яблок. А сама потом проваливай, куда хочешь.

– «Проваливай», – ворчит на кухне обиженная Марья. – Сам бы ты лучше провалился. И ведь поди ж ты, – мозгляк, кажется, такой, что и глядеть не на что. А баба к нему прямо стеной идет. Слово он такое знает, что ли, али что?..

У Мушуарова впереди еще час. Делать нечего, а настроение хорошее. Надо дать исход живым силам, буйно бродящим внутри.

– Марья-а-а!

– Чего кричите? Тут я.

– Дай мне рубашку.

– Уходить думаете?

– Не твое дело. Постой... Какую же ты мне рубашку да-

ешь... ночную? Дура! мне нужно с твердыми манжетами.

– Вот извольте. Чистенькая.

– Бестолочь! Ты мне грязную дай. Которую я давеча на-девал.

– Эва! Да ведь она грязная.

– Ой! Что это за женщина! Она меня в могилу сведет. Если ты так глупа, то исполняй мои приказания буквально! Возьми из грязного белья ту сорочку, которую я снял вчера, и принеси мне. Поняла? На одну минуту! Потом унеси. Поняла?

Со вздохом бредет Марья на кухню. Приносит сорочку.

– Где левая манжета? Вот эта? Хорошо, что ты еще в стирку ее не вздумала отдать. Где тут карандашом записано? А, вот! 237–542. А теперь забирай свою дурацкую рубашку и проваливай.

– Центральная? Алло! Дайте, барышня, 237–542. От всего сердца спасибо. Это кто у телефона?.. Горничная? Позови, голубушка, барыню. Скажи, Мушуаров просит. Постой-постой... Ты так и скажи: «Просит, дескать, к телефону господин Мушуаров, и что они, мол, будто не в себе. Будто, мол, что-то случилось». Поняла?

Ждет Мушуаров. Берет из вазочки остро-отточенный карандаш, начинает рисовать человека с неуверенным профилем и глазом, похожим на французскую булку.

– Алло! – слышит он. – Что такое случилось, Мушуаров? Чем вы так взволнованы?

– Ничего особенного, – говорит Мушуаров, часто и тяжело дыша, – Ничего, ничего... Только я хотел спросить: нет ли у вас случайно револьвера?

– Револьвера? Нет, не имеется. А вам на что?

– Да так, знаете. Воры, может быть, залезут, так я... в них... Впрочем, лучше не спрашивайте, нет! Не нужно ничего у меня спрашивать...

– Успокойтесь, я не любопытна. Это все, что вы хотели у меня спросить? Ну, всяких вам благ.

– Пойдите, Вера Петровна... Я у вас еще что-то хотел спросить...

– Ну?

– У вас случайно нет опиума? Или кусочка цианистого кали?

– Тоже для воров? Послушайте, Мушуаров... Ведь это же не крысы, которых можно травить мышьяком. Подумайте, вам нужно сначала поймать вора, потом связать его, потом всунуть ему в рот цианистый кали – сколько возни!..

Из трубки вылетает целый сноп серебристого смеха. Мушуаров болезненно морщится.

– К чему вы... так? Не хорошо смеяться над человеком, который...

Он делает паузу, отпивая из стакана чай и снова взглянув на часы. Издалека спрашивают:

– Который... что?

– Которого вы, может быть, больше не увидите.

– В Австралию уезжаете?

– Нет, – глухим голосом отвечает Мушуаров. – Но вы мне вчера сказали, что вы любите другого и что я для вас нуль. Остальное – поймите.

– Голубчик, Мушуаров... Но что же делать, если это так?!

– Пожалуйста! Пожалуйста! Я ведь ничего и не говорю. Но только... я сам не знаю, почему я к вам позвонил. Мне так хотелось в последний раз услышать ваш голос...

– В пос-лед-ний раз? Эй, ай, вы! Дядя! Да вы не думаете ли из-за меня стреляться?

– Вера Петровна! И вы говорите об этом таким тоном?

– Извините, если я вас обидела. Ну, давайте поговорим, как следует. Вы хотите из-за меня стреляться?

– Да... Вера... Петровна... К чему эта глупая скучная во-лын-ка, называемая жизнью, если вы не хотите быть моей?

– Так если же я вас не люблю. Ну, что же мне делать? По-судите сами!

– Что ж... Склоняюсь перед судьбой. Значит, так уж у ме-ня на роду написано. Ну... Не поминайте лихом...

– До свидания, милый...

– Послушайте! Вера Петровна... И неужели вам меня ни капельки не жалко?

– Ну, как не жалко. Жалко. Только я думаю, что вы этого не сделаете.

– Вера Петровна... Ровно в 12 часов ночи одним глупцом с пробитым пулей виском станет на нашей нелепой планете

меньше.

– Вы это решили категорически?

– Да!

– И ничто не изменит вашего решения?

– Да!

– Печально. В таком случае, прощайте. Все-таки – желаю вам одуматься.

– Нет! Одуматься? Ха-ха! Что Мушуаров решил – это свято! Завтра меня не будет в живых.

Он молчит, судорожно дыша. После некоторой паузы говорит тихо, разделяя слоги:

– Прощайте. Не поминайте лихом...

Склонив голову, ждет ответа.

– Алло! Я говорю – про-щай-те... Не поминайте лих...

Вера Петровна! Вы у телефона? Алло! Барышня! Почему вы разъединили? Что? Там трубку уже повесили? Не может быть!! Дайте туда звонок. Алло. Вера Петровна?..

– Да, это я, Мушуаров? Что вы еще хотели сказать?..

– Нас разъединили.

– Нет, это я сама повесила трубку. Вы что же, еще что-нибудь хотите сказать?

– Да. У меня одна к вам просьба...

– Пожалуйста. Если смогу...

– Одна к вам просьба: не приходите ко мне на панихиду и не провожайте на кладбище... Это такая пошлятина – эти все разговоры, пересуды... Обещаете?

– Обещаю.

– Ну... пр... прощайте. Благослови вас Господь.

– Мерси. Всех благ.

Слышен стук повешенной трубки. Мушуаров долго сидит, ошеломленный. Проводит рукой по лбу.

– Вот дрянь-то! Кто бы мог ожидать? Шел почти наверное и – на тебе! Ну, и черт с ней. Однако, это плохо, что так вышло. Завтра смеяться еще будет, другим расскажет... Гм!..

Долго ходит по своему кабинету Мушуаров, потирая лоб и бормоча невнятные слова...

Наконец, решительно подходит к столу, придвигает лист толстой почтовой бумаги. Пишет:

«Вера Петровна. Как странно: был я болен и вдруг сразу будто выздоровел, будто прозрел... Я вас любил... Боже ты мой, как я вас любил! Жизнь без вас казалась мне пучиной мрака... Вы мне казались идеальной женщиной, светлым лучом, ангелом доброты и ласки... И, не получив вашей любви, я решил умереть. Мое решение было бесповоротно, и о нем я сказал вам, думая, что так для нас обоих будет легче. Я сказал вам... И на что же я наткнулся – я, уже приговоривший себя к смерти?! На издевательство, смех, холодное, ледяное равнодушие влюбленной в себя эгоистки... И подумал я: из-за такой женщины – умирать? Из-за такого черствого сухаря, не способного на высокий подъем души – лишать себя жизни? Нет! Она не достойна этого! И я решил жить, убив свою любовь и взрастив на ее месте холодное полупрезрительное

равнодушные... Нет! Не ради вас Мушуаров расстанется со своей безумной жизнью. Вот о чем я нынче продумал всю ночь, и о чем сейчас, измученный этой бессонной ночью, пишу. Прощайте. Когда-то ваш – Спиридон Мушуаров».

В передней раздался звонок.

– Пришла? – подумал Мушуаров, заклеивая письмо. – Тот же. Все-таки, как-никак, а процентов шестьдесят на этом деле очищается...

Исповедь, которая облегчает

...После заутрени решили идти разговляться к Крутонову.

Пошли к нему трое: два – веселые, оживленные, Вострозубов и Полянский, – шагали впереди, а сзади брел третий – размягченный торжественной заутреней, задумчивый, какой-то внутренне просветленный.

Фамилию этот третий носил такую: Мохнатых.

Когда пришли к Крутонову, поднялась сразу веселая суета, звон стаканов, стук ножей и вилок...

И опять трое были оживлены, включая и хозяина, а Мохнатых по-прежнему поражал своим задумчивым, растроганно-печальным видом.

– Что с тобой такое делается, Мохнатых? – спросил озабоченный Крутонов, разливая в стаканы остатки четвертой бутылки.

– Эх, господа, – со стоном воскликнул Мохнатых, опуская пылающую голову на руки. – Может быть, это единственный день, когда хочется быть чистым, невинным, как агнец, – и что же! Никогда так, как в этот день, ты не чувствуешь себя негодяем и преступником!

– Мохнатых, что ты! Неужели ты совершил преступление? – удивились приятели.

– Да, господа! Да, друзья мои, – простонал Мохнатых, являя на своем лице все признаки плачущего человека. – Как тяжело сознавать себя отбросом общества, преступником...

Хозяин разлил по стаканам остатки пятой бутылки и дружески посоветовал:

– А ты покайся. Гляди, и легче будет.

По тону слов хозяина Крутонова можно было безошибочно предположить, что в этом совете не заключалось ни капли альтруистического желания облегчить душевную тяжесть приятеля Мохнатых. А просто хозяин был снедаем самим земным, низшего порядка любопытством: что это за преступления, которые совершил Мохнатых?

Разлил остатки шестой бутылки и еще раз посоветовал:

– В самом деле, покайся, Мохнатых. Может, мы тебя и облегчим как-нибудь.

– Конечно, облегчим, – пообещали Вострозубов и Полянский.

– Дорогие вы мои, – вдруг вскричал в необыкновенном экстазе Мохнатых, поднимаясь с места. – Родные вы

мои. Недостоин аз, многогрешный, сидеть среди вас, чистых, светлых, и вкушать из одной и той же бутылки пресветлое сие питье. Грешник я есмь, дондеже не...

– Ты лучше по-русски говори, – посоветовал Полянский.

– И по-русски скажу, – закричал в самозабвении Мохнатых: – И по-французски, и по-итальянски скажу – на всех языках скажу! Преступник я, господа, и мытарь! Знаете ли вы, что я сделал? Я нашему директору Топазову японские марки дарил. Чилийские, аргентинские, капские марки я ему дарил, родные вы мои...

Крутонов и Вострозубов удивленно переглянулись...

– Зачем же ты это делал, чудак?

– Чтоб подлизаться, господа, чтобы подлизаться. Пронюхал я, что собирает он марки, – хотя и скрывал это тщательно старик! Пронюхал. А так как у него очищается место второго секретаря, то я и тово... Стал ему потаскивать редкие марочки. Подлизуюсь, думаю, а он меня и назначит секретарем!

– Грех это, Мохнатых, – задумчиво опустив голову, сказал хозяин Крутонов. – Мы все работаем, служим честно, а ты – накося! С марочками подъехал. Что ж у него марочек-то... полная уже коллекция?

– В том-то и дело, что не полная! Нужно еще достать болгарскую выпуска семидесятого года и какую-то египетскую с обелиском. Тогда, говорит, с секретарством что-нибудь и выгорит.

– И не стыдно тебе? – тихо прошептал Крутонов. – Гнусно все это и противно. Марки-то эти можно где-нибудь достать?

– Говорят, есть такой собиратель, Илья Харитоныч Тпрундин, у которого все что угодно есть. Разущу его и достану.

– Омерзительно, – пожевал губами Крутонов. – Семидесятого года болгарская-то?

– Семидесятого. Горько мне, братцы.

– Ну, что ж, – пожал плечами Вострозубов. – Ты нам при znalся, и это тебя облегчило. Если больше никаких грехов нет...

– Нету грехов? У меня-то? – застонал Мохнатых. – А банковская операция с купцом Троеносовым – это что? Это святое дело, по-вашему?

– Постой, – тихо сказал Вострозубов, беря Мохнатых под руку и отводя его в сторону. – Ты им этого не говори; они не поймут. А я пойму. Вот – выпей и расскажи.

– И расскажу! Все расскажу!! Ничего не потаю. Пьянствовали мы недавно с купцом Троеносовым. Он и давай хвататься своей чековой книжкой. «Видал, говорит, книжку? Махонькая, кажется? Корова языком слизнет – и нет ее!! А большая, говорит, в ней сила. Тут я, говорит, проставлю цифру, тут фамилию – и на тебе, получайте. Хоть десять тысяч, хоть двадцать тысяч!» Хвастался этак-то, хвастался, да и заснул. А я возьми с досады, да и выдери один листочек...

– Мохнатых?! – с негодованием вскричал Вострозубов. – Неужели...

И снова громко застонал Мохнатых.

– Да! Да! Каюсь ради великого праздника! Три тысячи вывел я на листочке, подписал «И. Троеносов» – благо он как курица пишет – и в ту же неделю получил. Тошно мне, братцы, ой, как тошно!!

– Куда же ты их девал, несчастный?

– А я пошел в другой банк да на текущий счет все три тысячи и положил. Вот и чековая книжечка, вроде Троеносовской.

– Какая грязь! Покажи... Книжечку.

– Вот видишь... Тут сумма и число ставится, тут фамилия...

– Неужели ни на одну минуту, Мохнатых, совесть не схватила тебя за сердце, не ужаснулся ты?... А фамилия получателя разве тут не ставится?

– Ни-ни! На предъявителя. Понимаешь, как удобно. Предъявил ты чек, и расписок никаких с тебя не берут – пожалуйста! Получил из кассы и иди домой.

– Гм!.. Смешные, ей-богу, эти банкиры. Покажи-ка еще книжечку... Значит, ты сначала выдрал такой листочек, а потом уже подписал купцову фамилию.

– Ну, конечно! Ох, тошнехонько мне, братцы!.

– Выпей, преступная твоя душа. Вон, там твой стакан, на окне... Ну, теперь бери твою книжку. Да спрячь подальше. А то, брат, знаешь, не трудно и влопаться... Так все три тысячи, значит, у тебя и лежат?

– Все лежат, – вскричал кающийся Мохнатых, ударяя себя в грудь. – Ни копейки не трогал!

– Н-да... Ну, ничего. Бог тебя простит. По крайней мере, теперь ты облегчился...

Полянский уже давно ревниво следил за интимным разговором Мохнатых с Вострозубовым.

Подошел к нему, обнял дружески за талию и шепнул:

– Ну, что, легче теперь? Нету больше грехов?

Тоскливо поглядел на него Мохнатых.

– Нету грехов? Это у меня-то? Да меня за мой последний грех повесить мало! Братцы! Вяжите меня! Плюйте на меня! Я чужую жену соблазнил!

– Какая мерзость! – ахнул Полянский, с презрением глядя на Мохнатых. – Хорошенькая?

– Красавица прямо. Молоденькая, стройная, руки, как атлас, и целуется так, что...

– Мохнатых! – сурово вскричал Полянский, – не говори гадостей. И тебе не стыдно? Неужели ты не подумал о муже, об этом человеке, которого ты так бесчеловечно обокрал?!

– Жалко мне его было, – виновато пролепетал Мохнатых, опустив грешную голову. – Да что же делать, братцы, если она такая... замечательная...

– Замечательная?! А святость семейного очага?! А устои? Говори, как ее зовут.

– Да зачем тебе это... Удобно ли?

– Говори, развратник! Скажи нам ее имя, чтобы мы мо-

лились за нее в сердце своем, молились, чтобы облегчить ей и твой грех... Слышишь? Говори!

– Раба Божия Наталья ее зовут, – тихо прошептал убитый Мохнатых.

– Наталья? Бог тебя накажет за эту Наталью, Мохнатых. А по отчеству?

– Раба Божия Михайловна.

– Михайловна? Какой позор... Не спрашиваю ее фамилии, потому что не хочу срывать покрывала с тайны этой несчастной женщины... Но спрошу только одно: неужели у тебя хватало духу бывать у них дома, глядеть в глаза ее мужу?!

– Нет... Я больше по телефону... Уславливался...

– Еще хуже!! Неужели раскаяние не глодало тебя?! Неужели этот номер телефона, ужасный преступный номер – не врезался в твою душу огненными знаками?! Не врезался? Говори: не врезался?

– Врезался, – раскачивая головой, в порыве безысходного горя, прошептал Мохнатых.

– Ты должен забыть его! Слышишь? То, что ты делал, – подло! 27–18?

– Что, номер? Нет... Хуже! Больше!

– Еще хуже? Еще больше? Какой же?

– 347-92.

– Ага... Наталья Михайловна... Так-с. Как же ты подошел к ней? Каким подлым образом соблазнил эту несчастную?..

– А я просто узнал, что за ней ухаживал Смелков. Встретил ее да и рассказал, что Смелков всюду хвастается победой над ней. Выдумал. Ничего Смелков даже и не рассказывал... А она возмутилась, прогнала Смелкова... Я и стал тут утешать ее, сочувствовать.

– Трижды подло, – рассеянно заметил Полянский, описывая что-то карандашом на обрывке конверта.

– Все грехи? – спросил Крутонов, разливая в стаканы остатки восьмой бутылки и набивая рот куличом. – Во всем признался?

– Кажется, во всем.

– Ну, вот видишь. Легче теперь?

– Кажется, легче.

– Ну, вот видишь! Говорил я, что мы тебя облегчим... И облегчим!

– Конечно, облегчим, – серьезно и строго подтвердил Востроzubов.

– Камень с души снимем, – пообещал Полянский.

– Все камни снимем! Камня на камне от твоих грехов не останется.

– Я пойду домой, родные, – попросился раскисший Мохнатых. – Спаточки мне хочется.

– Иди, детка. Иди. Бог с тобой. Если еще будут какие грехи – ты нам говори. Мы облегчим...

И умягченный, обласканный, облегченный, пошел Мохнатых домой, с тихой нежностью прислушиваясь к веселому,

радостному звону пасхальных колоколов.

Кустарная работа

На глухой улице южного городка стоял дом с садом, принадлежащий Ивану Авксентьевичу Чеботаренку.

Мой приятель, столичный художник Здолбунов, и я – мы гостили у тороватого Чеботаренка весь май месяц и часть июня.

Хорошо было. Цвела сирень, цвела акация, цвело все, на что только падали жаркие поцелуи солнца, и все мы ходили, как полупьяные.

В день именин хозяина, вечером, когда луна залила серебристо-зеленым светом сирень в саду и тополя, я ушел от гостей в свою комнату, бросился на кровать и долго лежал так, часто и сильно дыша ароматом щедрой сирени, доносившейся из открытого выходившего в сад окна.

Хорошо было. Я в этот момент никого не любил и, вообще, в это время никого не любил, но чувствовал, что скоро полюблю сильно, сокрушающе и что эта любовь будет счастливая, долгая. Запах сирени может многое рассказать, если в него как следует вникнуть.

За окном раздался голос моего приятеля, художника:
– Вот тут скамеечка есть. Тихо, безлюдно, и сирень безумствует кругом. Сядем, Марья Николаевна.

Женский голос поправил:

– Какая я вам Марья Николаевна?! Я Ольга Николаевна. Неужели вы еще не запомнили?

– Я-то не запомнил?! Таковский я, чтобы не запомнить. Нет, я запомнил, но только вам больше идет имя – Маруся. Марья Николаевна.

– Да уж вы сумеете вывернуться, знаю я вас.

– Какие у вас холодные руки, Ольга Николаевна.

– А вы откуда знаете?

– Да я одну из них взял.

– Зачем же вы это делаете? Оставьте; не надо.

– Почему не надо? А, может быть, я хочу поцеловать вашу руку.

– Это совсем лишнее.

– Нет, не лишнее. У вас красивые руки, Марья Ник... Ольга! Ольга Николаевна!!

– Ну, уж нашли тоже красоту. Вероятно, всем женщинам говорите одно и то же.

– Если бы все женщины были похожи на вас, я бы говорил им то же самое.

– А что же, я разве не такая женщина, как другие?

– Вы? Вы особенная. В вас есть что-то такое... что-то, знаете, такое...

– Ой, руке больно. Не жмите.

– Ну, ничего. Я ее поцелую, все и пройдет.

– Знаете, почему я держу вашу левую руку, а не правую?

– Почему?

- Левая ближе к сердцу.
- Так вы говорите – какая я?
- Вы? Особенная какая-то.

Пауза. Потом раздался притихший голосок Ольги Николаевны:

- Странно. Это говорите не вы первый.
- Ну, вот видите! Какие у вас красивые плечи.
- Оставьте. Ну, так что же во мне особенного?
- В вас есть какое-то обаяние. Меня влечет к вам. Ведь мы познакомились только нынче за обедом, а мне кажется, будто мы с вами знакомы давно-давно.

– Какой вы странный.

– Да... Меня все находят странным. Я не такой, как другие.

– А какой же вы?

– Какой? Да, знаете, долго говорить. Но только вы меня не должны бояться.

– Почему у вас такая рука холодная?

– Сердце горячее.

Долгая пауза.

– Виктор Михайлович!

– Ну?

– О чем вы так глубоко задумались?

– Что? Эх!.. Не стоит говорить. Нет. Нельзя. Не спрашивайте.

– Наверное, о какой-нибудь из ваших многочисленных

симпатий?

– О, Марья Николаевна... Как вы далеки от истины!

– Ольга я Николаевна! Какая я вам Марья Николаевна?!

С кем вы меня путаете?..

– Это я нарочно назвал вас Марьей Николаевной, чтобы посмотреть: ревнивая ли вы?

– Да уж вы сумеете вывернуться. Вас на это взять.

И своеобразная гордость прозвучала в голосе Ольги Николаевны. Будто она уже начала гордиться своим собеседником.

– Так о чем же вы так задумались?

– О чем? Вернее – о ком.

– Ну, о ком?

– Нет, зачем, Мар... Ольга Николаевна! Лучше не говорить... Скажу только одно: ваше имя надолго запечатлеется в моем сердце, как что-то милое дорогое и сладко-печальное.

– Ну, не надо быть таким... Ей-богу, вы странный. Так о ком же вы думали?

– Сказать? А вы не рассердитесь?

– Нет. Почему же?

– Вот если вы меня поцелуете, тогда скажу.

– С какой же стати я вас буду целовать! Нельзя. Я замужем.

– Серьезно?!

– Конечно.

Пауза.

– Ну, так что ж такое, что вы замужем?

– Как что? Вот, ей-богу... Какой вы странный.

– Жизнь меня сделала странным, милая Оля.

– Не смейте меня так называть.

– Хорошо, Оля. Не буду.

– То-то. Так о ком же вы думали?

– О вас.

– Интересно знать, что же вы обо мне думали?

– Я думал: сколько вы счастья можете дать тому человеку, который вас полюбит.

– Наверное, всем женщинам говорите то же самое.

– Я?! Нет. Чего мне! Только вам и говорю.

– Отчего вы такой печальный, Виктор Михайлович?

– У меня жизнь печально сложилась, Оленька.

– Бедный мой, бедный; ну, дайте, я вас по головке поглажу. Оставьте. Пустите! Не смейте меня целовать! Я кричать буду!

Лежа у себя на кровати, я нервно насторожился, вот сейчас раздастся пронзительный крик.

Крика не было. Тишина, на секунду прерванная звуком поцелуя, царила за окном.

– Слушайте, если вы будете так себя вести – я уйду.

– Ну, не надо уходить.

– Да уж я знаю вас – вы умеете женщин уговаривать. Дайте слово, что больше этого не будет.

– Чего?

– Вот этих... поцелуев...

– Дам слово... С одним условием, – чтобы завтра вы пришли ко мне. Я покажу вам свои рисунки. Вы любите искусство?

– Страшно!

– Ну, вот видите. Вы такая чуткая, понимающая и вдруг заброшены в эту глушь. Я понимаю, каково вам приходится. У вас красивая душа. Так придете?

– Я приду с одним условием: дайте мне слово, что вы не позволите себе ничего лишнего.

– Лишнего? Что вы, Оленька?!. За кого вы меня принимаете. Ничего лишнего. Будет самое необходимое.

– Ну, пойдемте отсюда... А то ушли и пропали... даже неприлично. Только послушайте... Виктор Михайлович... Вы, наверное, меня не уважаете. Только сегодня познакомились, а мы уже с вами... и целовались...

– Ольга Николаевна! Разве можно говорить о каком-то там уважении, если налицо любовь! Разве можно заботиться о каком-то насморке, если у человека брюшной тиф?

– Да уж я вас знаю... Вы умеете красиво говорить... Ну, идите вперед, а я с другой стороны выйду.

Через полчаса Здолбунов, насвистывая что-то, зашел в мою комнату.

– Ты тут? Что это ты делаешь в одиночестве?

– Здолбунов! Я все слышал, о чем ты говорил с Ольгой Николаевной.

Он засмеялся.

– Стыдно подслушивать, дитя мое.

– Знаешь, Здолбунов... я записал весь ваш разговор. Почти дословно. Не хочешь ли прочитать?

Он взял из моих рук бумажку и внимательно прочел ее.

– А ведь, ей-богу, недурно.

– Это? Недурно?! Здолбунов! Ты, который читаешь рефераты по искусству, ты, который имеешь жену – чуткого, тонкого, умного человека, ты, который...

– «О ты, Катилина!» Успокойся, милый. Запомни мудрые слова человека Здолбунова: на кита ходят с гарпуном, а на пескаря достаточно примитивнейшего крохотного стального крючка. Крючка кит даже не заметит; гарпуном пескарь будет раздавлен, как букашка. Все на свете разумно, и Марья Николаевна...

– Ольга!!

– Ну, Ольга. И Ольга Николаевна получит если и не мое уважение, то мою краткосрочную любовь.

– Да уж вы, мужчины, умеете говорить. На это вас взять, – засмеялся я.

А в окно врывался сладкий, ласковый запах сирени и все оправдывал, и все оправдывал, и все оправдывал.

Отдел III

Те, которые действуют на нервы

Приезжий Сельдяев

Посвящ. Ник. Серг. Шатову.

Я прислушался... Из передней донесся голос моей горничной:

– Барин дома, но очень занят.

Другой голос приветливо согласился.

– Ага... Так, так. Это хорошо. Ну, пусть себе занимается.

Я мешать не буду. Доложите, что я хочу его видеть...

– Да барин занят. Пишет.

– Ну, вот и хорошо. Наверное, какую-нибудь забавную вещь пишет. Скажите, что я хочу его видеть...

– Барин сказал, что его отрывать нельзя.

– Да я и не оторву. Ей-богу. Только десять минут. Желает, мол, видеть его Сельдяев. Он меня примет.

– А они сказали, что никого не будут принимать.

– Ну да. Вообще. А я Сельдяев.

Голос у него был кроткий, убедительный, как у человека, который погряз с головой в разных деликатностях.

– Не знаю уж, как и быть.

– Вы только скажите ему, что я из провинции.

Этого он мог бы и не говорить. Весь предыдущий разговор достаточно убедил меня в этом. Я с силой бросил перо на письменный стол, вскочил, выбежал в переднюю и, заложив руки в карманы, отрывисто спросил:

– Что?

– Мамочка! – закричал он, умиленный. – Не узнает! Вот смехи-то... Сельдяева не узнал. Да какая же жизнь после этого... Дайте-ка я перво-наперво вас облобызаю.

Он привлек меня к себе, а горничная в это время стаскивала с его плеч шубу. Вышло так, что мы спутались в один странный комок, состоящий из горничной, Сельдяева, шубы его и меня.

– Простите, не узнаю, – пролепетал я, прижимая Сельдяева к сердцу.

– Сельдяева-то? Помните, вы в Армавире у нас читали лекцию, а я зашел приветствовать вас от имени армавирского общества любителей таксомоторной езды. Еще после мы с Гугенбергом и Чихалиным вас на таксомоторе возили, город показывали. Кстати, знаете, Чихалин-то... Кинематограф открывает в Армавире.

– Что вы говорите! – деликатно поразился я. – Это неслыханно! Кто бы мог подумать... Эх, Чихалин, Чихалин... Не выдержала русская душа окружающей беспросветной мглы... Садитесь.

– Сяду. Я ведь вам мешать не буду. У меня только одна просьба: покажите мне ваш Петроград.

Я поглядел на Сельдяева; взглянул на неоконченную рукопись. Первый все равно не отстанет; вторую все равно окончить не удастся.

– Пойдем, – сказал я.

– А работа? Вы не беспокойтесь, пишите. Я минуточек пять подождать могу.

– Что вы! Тут работы часа на два.

– Ну, тогда, конечно, бросьте. Хе-хе... Сельдяевы не каждый день в Петроград приезжают. Верно?

– Пойдем.

Мы оделись и вышли.

– Вот это Невский проспект, – сказал я приостановившись, чтобы полюбоваться на его ошеломленное лицо.

Однако лицо его было спокойно, как морской залив в тихое летнее воскресенье.

– Невский?.. Так, так. Далеко тянется?

– Верст десять!

Я опять искоса взглянул на него.

– Десять? Так. Но это в обе стороны?

«Нет, – подумал я, – улицей его не удивишь. А что ты, голубчик, запоешь, когда увидишь Казанский собор?!»

– Это вот Казанский собор. Каково, а? Хотите внутрь зайти?

– Нет, зачем же, – пожал он плечами. – Собор как собор.

– Ну, не скажите... Колонны-то все-таки... Видали, какие?

– Да, серые. Сто штук будет?

– Что вы, – сказал я и хотел добавить: «меньше», но потом решил ошеломить его.

– Больше! Около трехсот.

– С каждой стороны или в общем?

Я резко повернулся:

– Пойдем.

Желание поразить этого человека пропало во мне. Я вяло водил его за руку и не менее вяло указывал вялым пальцем:

– Исаакиевский собор. Полтора ста миллионов обошелся.

Сельдяев значительно поджимал губы и, подняв одну бровь, спрашивал:

– С землей или без земли?

– А это вот Нева. Видите?

Он перегнулся через перила и стал рассматривать реку так, будто бы хотел разглядеть какое-то насекомое, ползущее внизу.

– Это вот Нева и есть?

– Нева. Кажется, что не широка, а на самом деле обман зрения: пять верст!

Никакого изумления не отпечатлелось на его лице.

– Ну, вода-то здесь, говорят, ядовитая, – задумчиво опершись о перила, промямлил он.

– Вода? Страшно ядовитая. На один кубический сантиметр воды четыре миллиарда бактерий. Ежели нападут все вместе, человека растерзать могут.

– Так, так. А эта штука там торчит – что это такое?

– Где?

– Вот эта. Кривая какая-то.

– Это – Троицкий мост! (Мы стояли от него в ста шагах.)

Хорошая «штука»!.. Одна постройка обошлась полтора ста милл... (все равно!) миллиардов.

– Все-таки, он металлический?

– А вы какой же хотели?

– Да нет, я так. Мне все равно. Металлический так металлический.

Я призадумался.

– Когда кессоны устанавливали, – около трех тысяч народу погибло.

Это был единственный раз, когда он изменил себе, заметив:

– Ну, на такой большой мост неудивительно, – что столько народу пошло.

Я сразу погас, потух, обессилел и побрел, еле перебирая ногами и неохотно влача Сельдяева за руку.

Были впереди еще – музеи, памятники, вся красота и мощь Петрограда. Но – что это все Сельдяеву? Я решил не церемониться с ним.

* * *

Мы шли по какой-то неизвестной мне узкой улице; я ука-

зал на серый двухэтажный дом и значительно сказал:

– Самый знаменитый дом в Петрограде.

– А что?

– Здесь Пушкин написал своего «Евгения Онегина».

– Пушкин? – переспросил Сельдяев. – Александр Сергеевич?

– Да.

– Он тут что же... всегда жил или так только... Для «Онегина» поселился?

– Специально для «Онегина». Заплатил за квартиру двадцать тысяч.

Печать холодного равнодушия лежала на каменном лице Сельдяева.

– Вы что же думаете, – сурово спросил я, – что прежние 20 тысяч все равно, что теперешние? Теперь это нужно считать в 50 тысяч!

– Гм... да! А он за «Онегина»-то много получил?

Я бухнул:

– Около трехсот тысяч.

– Ну, тогда, значит, – рассудительно заметил Сельдяев, – ему можно было за квартиру такие деньги платить.

Мы молча зашагали дальше.

– А вот этот дом – видите? Тут несколько лет тому назад произошла страшная драма: один молодой человек вырезал обитателей четырех квартир.

– Это сколько ж народу?

– Да около так... пятидесяти человек.

Он осмотрел фасад и спросил:

– В один день?

– А то как же?

– Этак, пожалуй, и не успеешь, если без помощников. За что же он их?

– Из мести. Они съели его любимую невесту.

Сельдяев качнул головой.

– Людоеды, что ли?

– Нет!! – отрезал я, дрожа от негодования. – Это был такой клуб, где ради забавы каждый день ели по человеку. И полиция молчала, потому что ей платили около трех миллионов в год.

– Рублей?

– Нет, фунтов стерлингов!!! В фунте – 9 рублей 60 копеек.

– Английские фунты?

– Да! Да!

Он улыбнулся краешком рта.

– Гм! Просвещенные мореплаватели...

* * *

– Стойте! Вот дом, который вас позабавит. Здесь помещается питомник полицейских собак. Есть тут одна собака Фриц, которая не только разыскивает преступников, но и допрашивает их.

– Овчарка? – спросил он, оглядев фасад.

– Черт ее знает!! Недавно захожу я сюда, а она сидит за столом и спрашивает какого-то парня:

«Как же вы говорите, что были в тот вечер на Выборгской стороне, когда я нашла ваши следы на лестнице дома Горюховой улицы?» Так парень на колени. «Ваше высокородие! Не велите казнить, велите слово молвить!.. Так точно, повинюсь перед вами».

– Да, да, – сказал Сельдяев, шумно вздыхая. – Читал и я, что где-то в цирке показывали собаку, которая разговаривает; потом кошку... тоже. Показывали... которая разговаривает...

Я погасил искорку ненависти, мелькнувшую у меня в глазах, и сказал, хлопнув его по плечу:

– Так слушайте, что же дальше! Собака, значит, к нему: «А так, ты сознаешься?!» – «Так точно. Только вот что, ваше высокородие: так как говорим мы глаз-на-глаз, то разделимся по совести. Я вам бриллиантовые сережки отдам, что украл, а вы меня отпустите...» И кладет перед ней серьги. Собака только плечами пожала: «куда мне они... Ведь всем ювелирам приметы и описание сережек разосланы. Попадусь еще... Есть у тебя рублей пятьдесят наличными – так дай. Тогда черт с тобой, иди куда хочешь». – «Тридцать пять есть!» – «Ну, ладно, давай, да сережки-то не здесь сбывай, а где-нибудь в Берлине или Дрездене!» Опустила деньги в карман да прочь со стола.

Сельдяев выслушал меня, и в глазах его мелькнула тень интереса к моему рассказу.

– Да откуда ж у нее карман?

– Карман сюртука. Они ведь одеваются в форменные сюртуки. Шашка. Сапоги. Свисток. Жалованье 11 рублей с полтиной.

Но Сельдяев снова погас. Взял меня под руку и спросил:

– Ну, а что тут у вас, вообще, в Петрограде интересного?

– Вы лучше расскажите, что у вас слышно в Армавире?

Он остановился, обернулся ко мне, и лицо его сразу оживилось.

– Да ведь я вам и забыл сказать: вот будете поражены...

Ерыгина помните?

– Не помню.

– Ну, как же. Так можете представить, этот Ерыгин решил ехать в Сибирь! Нашел в Иркутске магазин, который ему передали на выгодных условиях, – и переезжать туда... Не чудак ли?.. Что вы на это скажете?!

И он залился закатистым смехом.

– Господи Иисусе! Кто бы мог подумать! – воскликнул я и вслед за ним залился смехом.

Как это часто бывает, смеялись мы по разным поводам.

Необыкновенный человек

К подъезду большого коммерческого банка подъехал гос-

подин средних лет, незначительной наружности...

Когда он, среди потока других клиентов банка, проходил через стеклянный, монументального вида, турникет, то приостановился около усталого, отупевшего от бессмысленной работы швейцара и медлительно, с некоторой раздумчивостью, совсем не вязавшейся с происходившей кругом суетой, спросил швейцара:

– Много народу, небось, у вас бывает в день?

– Много, – отвечал швейцар, вертя турникет.

– И всякого, значит, пропустить надо... Работа, нечего сказать. Тут, небось, и о себе-то чтобы подумать – нет свободной минуты.

– Где там!

– Тяжелая работа. Семейный?

– Семейный.

– Так-с, – пожевал губами господин. – Для семьи, значит, приходится добывать. И дети есть?

Швейцар с некоторым удивлением ответил:

– Двое.

– Мальчики, девочки?

– Мальчик и девочка.

– Ну, дай им Бог доброго здоровьица. Пока до свиданья. Иду, брат, деньги по переводу получать. Сто двадцать пять рублей. Директора у вас хорошие?

– Ничего, директора хорошие. Сюда пожалуйста.

– Пойду, пойду... Не буду отвлекать тебя от дела.

* * *

– Скажите, мальчик, где тут у вас по переводам получают?

– У третьей колонны, налево.

Проворный мальчишка в коричневой куртке с золочеными пуговицами хотел прошмыгнуть мимо, но посетитель задержал его и, снисходительно улыбнувшись, сказал:

– Небось, вам, мальчик, уже надоели все эти вопросы?.. Вот, думаете вы, как это просто, и надпись есть: «получение по переводам», а все спрашивают, справляются. Сколько жалованья получаете?

– Восемь рублей.

– Ну, что ж, – задумавшись решил посетитель, – все-таки родителям подмога. У родителей живете?

– У родителей, – с важным видом пискнул мальчишка, втайне польщенный такой содержательной беседой.

– Ну, ну. Это хорошо. Вы старайтесь.

* * *

Посетитель подошел к барьеру и, облокотившись о него, закивал головой заведующему оплатой переводов.

– Здравствуйте, здравствуйте. Ну, как банковские дела? Подвигаются? Ничего? Все благополучно?

– Благодарю вас, ничего. У вас что? перевод?

– Да, знаете... Хотелось бы получить. Жена-то у меня живет в Кременчуге, ну, а мне тут и понадобились деньги. Я ей и пишу: «Лиза, дескать, вышли немного, чтобы...»

– Хорошо, хорошо. Позвольте ваш перевод.

– Вот он – видите. Тут и сумма обозначена, и число, и от кого, и что – все есть. Женаты?

– Что?

– Вы-то, я спрашиваю, женаты? Или в холостяках все еще маячите? Теперь как-то меньше стали жениться...

– Паспорт с вами? – тоскливо спросил заведующий переводами, поглядывая на кучку клиентов, толпившихся за спиной добродушного посетителя.

– Паспорт? А зачем? Ведь я сам пришел. Если бы мой слуга пришел, или там брат, или кто-нибудь, вообще, из хороших знакомых – тогда я понимаю. А так – зачем же?

– Простите, без паспорта мы не можем выдать.

– Вы меня ошеломляете. Объясните мне, почему такое странное правило?

– Да видите ли что... Мало ли что...

– Совершенно с вами согласен, – ответил посетитель. – Но вы были бы правы, если бы дело шло о какой-нибудь большой сумме... Ну, там – пять или десять тысяч... А тут? Какие-то сто двадцать пять рублей...

– Да, но раз такое правило, я, как ответственное лицо, не могу рисковать.

– Милый! Да разве же я не согласен?! Зверь я, что ли?! Бегемот какой-нибудь? Я согласен! Но тут, извольте видеть, есть одно маленькое «но»... Вы, конечно, ответственное лицо, но – вы слышите это «но»? но никто не имеет права дельать из вас машину, бессловесный рычаг какой-то. Вы должны рассуждать! Как же вы должны рассуждать в данном случае? А так: вот пришел человек получать по переводу 125 рублей, а паспорта-то у него и нет. Жулик он или не жулик? Украл он этот перевод или честно получил от жены по почте? Прежде всего посмотрите на мое лицо! Всмотритесь в мои глаза! Могут быть такие глаза у жулика? Нет! Это первое. Второе: жулик бы не действовал так просто, как я, простите, мол, паспорта не захватил, прошу выдать просто так, на доверие. Жулик к доверию никогда не обратится! Да он вам, батенька, тысячу документов подделает, паспорт украдет да подсунет, но о доверии даже и не вспомнит! Теперь – третье: жулик не будет получать такую маленькую сумму, не будет рисковать из-за какой-то сотни с лишком. Затем, заметьте: жулик для вашего усыпления всегда выведет не круглую сумму, а какую-нибудь самую заковыристую: 352 рубля 17 копеек, 937 рублей 91 копейка!

– Простите, вы задерживаете публику.

– Вот-то чудак человек! Да не я задерживаю публику, а вы меня задерживаете! Подумаешь, велика важность – 125 рублей. Да я, может быть, такую сумму в один раз в ресторане оставлял.

– Нет, без паспорта мы выдать не можем.

– Так-с. Значит, я, по-вашему, жулик?

– Я этого не смею сказать; но раз существует правило – я не могу рисковать...

– Эх, вы! А прелесть риска для вас ничто? Сейчас видно, что вы не спортсмен! Риск должен захватывать, должен кружить голову!.. Не дадите? Ну, хотите я вам дам честное слово, что перевод мой и что тут нет никакого подвоха? Ну? Вот – смотрите.

Посетитель положил руки на грудь и сказал проникновенным голосом:

– Клянусь вам и даю честное слово, что перевод мой...

– О, Господи! Неужели вы не понимаете простых вещей?! – застонал чуть не плачущий служащий. – Не могу я, поймите! Если бы еще тут был кто-нибудь из ваших знакомых, который подтвердил бы...

– За этим только и остановка?! Так бы вы и сказали. Вот давайте познакомимся, и дело с концом. Позвольте представиться: Тимофей Николаевич Двоеруков, помещик. Очень рад. Вас как зовут?

– Меня зовут Василием Николаевичем, – полусердито, полусмеясь проворчал служащий. – Но это все равно ни к чему не поведет!.. Какое же это знакомство, если я вас совсем не знаю?!

Посетитель поглядел на служащего опечаленными глазами...

– Спасибо, спасибо вам, Василий Николаевич, за такое отношение... Значит, я, по-вашему, жулик? Бог вас простит это, Василий Николаевич. Но я утверждаю, что когда вы познакомитесь со мной ближе, вы поймете меня и оцените... Что вы делаете сегодня вечером? Завернули бы ко мне, я тут недалеко на проспекте живу... Попили бы чайку, погугорили...

– Спасибо, но у меня... совсем нет времени. И умоляю вас – не задерживайте очереди. Смотрите, какой хвост образовался благодаря вам.

– Хвост большой, – задумчиво сказал Тимофей Николаевич, оглядываясь. – Так что же мне делать, дорогой Василий Николаевич?.. Посоветуйте. Бросьте этот сухой официальный тон, так гармонирующий с деловой суетой, мраморными колоннами и шелканьем счетов. Посмотрите на меня ласково, ведь вы же человек и я человек... Неужели завет Христа, что все люди – братья... Эх, Господи! Солнца бы сюда побольше! Ласки побольше.

Служащий потер горячую голову и пролепетал, обессиленный:

– Пойдите, попросите директора. Если он согласится...

– Спасибо, Василий Николаевич. Вот это человеческое отношение! Куда идти-то? Направо?

Войдя в кабинет директора, убранный со строгой, чисто деловой роскошью, Тимофей Николаевич приостановился у письменного стола и огляделся:

– Какое у вас тут строгое настроение. Воображаю, как бы на меня посмотрели, если бы я в этой обстановке затанцевал гопака... Страшно у вас тут, холодно. А я к вам, Яков Матвеич, по делу. Я уже узнал, как вас зовут – не удивляйтесь. А моя фамилия Двоеруков, Тимофей Николаич. Душевно рад. Работаете все, хлопчете? Солидное у вас учреждение, богатое. Женаты?

– Чем могу служить? – с некоторым изумлением спросил директор. – Мне доложили, что вы по делу.

– Конечно, конечно. «Дела, дела», как сказал какой-то поэт. Слушайте: один ваш служащий меня прямо смешит. Такой смешной.

– Не знаю, кто так вам смешон?.. Служащие у нас хорошо воспитаны, вежливы...

– Эх, милый Яков Матвеич! Да от ихней вежливости-то ледком несет, холодом ледовитым! Ты мне ласку дай, а не вежливость! Ты психологом будь! Гляди на человека и рассуждай: «Жулик он или нет?» А он так безо всякого рассуждения, как машина, прямо режет: «Не могу дать деньги по переводу без вашего паспорта! Правило такое!» А если я

забыл паспорт! А если его у меня украли. Эх, Яков Матвейч! У банка вон оборот (я давеча на стенке читал) ежегодно 240 миллионов! А банк 125 рублей боится дать. Ну, предположим даже, что я жулик! Предположим...

– Простите... Мы не можем нарушать правила...

– Вот-с! Вот-с я вас уже и поймал, многоуважаемый, достойнейший Яков Матвейч!.. Да ведь я же исключение! Поймите вы – я исключение на двух ногах!

Директор тыльной частью руки вытер пот со лба и вежливо сказал:

– Но поймите, что раз бывают злоупотребления...

– Хорошо-с! Понимаю! Но поглядите на меня! Вдумайтесь в меня. Вот я встану в профиль, анфас. Что вы видите? Открытое, простодушное лицо, платье от недурного портного, бриллиант на пальце – настоящий, ей-богу. А тон? Тона ведь не подделаешь. И при этом – только 125 рублей. Ну, какой бы, даже самый глупый, жулик подделывал, воровал чек на 125 рублей? Да согласитесь вы, достойнейший Яков Матвейч...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.